

ЭДВИН АРЛИНГТОН
РОБИНСОН





ЭДВИН АРЛИНГТОН РОБИНСОН



СТИХОТВОРЕНИЯ
И ПОЭМЫ

Шильдюрн-таун,

Перевод с английского
АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва 1971

И (Амер)

Р 58

Предисловие
А. СЕРГЕЕВА

Художник
И. ГИРЕЛЬ

$\frac{7-4-4}{183-71}$

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эдвин Арлингтон Робинсон редко писал стихи от первого лица. Свое «я» ему было нужно скорее как прием для проникновения во внутренний мир его друзей и соседей, американских провинциалов конца XIX века. Унылый городок, в котором жил поэт и его герои, в стихах называется Тильбюри-таун. Сонный и заурядный Тильбюри-таун сродни захолустному Скотопригоньевску «Братьев Карамазовых». В разных частях света, в разных литературных жанрах два писателя поведали миру о мучительных переживаниях малозаметных, но не малозначительных людей.

Искусство всегда отбор. Посмотрим же, какого рода люди привлекали внимание Робин-

сона. Вот герои его главных стихотворений. Опоздавший родиться романтик Минивер Чиви. Благородный проходимец Фламмонд. Незадачливые богачи Ричард Кори и Бьюик Финзер. Влюбленные Джон Горэм и Джейн Уэйленд, которые не в силах найти общий язык. Безымянная мать, ослепленная мнимым величием ничтожного сына. Люк Хэвергол и Рюбен Брайт, которых с любимыми разлучила смерть, обойденные жизнью, но сохранившие человеческие качества клерки и трогательный мистер Флад. И, наконец, Фергюстон, он же Таскер Норкросс, человек без достоинств, всю жизнь терзающийся сознанием своей полной ничтожности. Все это разные люди с присущими каждому особенными заботами и тревожениями, но есть у них нечто общее. Они — неудачники. В силу внешних и внутренних причин они плохо приспособлены к той общественной среде, в которой им приходится жить. Робинсон пишет о несбывшихся мечтах и упущенных возможностях. Оттого-то в его стихах столько сослагательных «если бы», «может быть», «мог бы», «могли бы», «по-видимому», «вероятно»...

Вторая половина прошлого века была в Соединенных Штатах временем бурного промышленного развития. Десятками, сотнями возникали крупные фабрики, банки, тресты. Кое-кто наживал невиданные состояния. На смену американской мечте о справедливом государстве, на смену идеализму первых поселенцев и отцов-основателей шел бескрылый прагматизм, практицизм, культ успеха. Перетолковывая на свой лад и в своей стране традиционный романтический сюжет о нищем старике, открывающем тайну клада, Робинсон вводит в него интонации и терминологию торговой сделки, при которой старший компаньон напутствует младшего. Но поэт остается верен себе: что-то мешает его Виккери воспользоваться богатством, в котором он, по сути дела, и не нуждается.

Всем достоянием своих стихов Робинсон заверяет читателя, что не в денежном богатстве счастье, как и не в машинном прогрессе, и не в успешном ведении дел. Но в чем же? В поисках альтернативы поэт обращается к образам тех, для кого во главе угла сама жизнь и раскрытие в ней человеческой личности. В чудес-

ной поэме о последних из пуритан Айзеке и Арчибальде речь идет о цельности и полноте мироощущения, которые два старых друга пронесли через десятилетия испытаний. Поэтому рассказ о старости и умирании волшебным образом превращается в гимн земле, небу и счастью бытия.

Старая американская школа с ее Гомером и Шекспиром, а также обязательная в пуританских домах Библия, очевидно, давали жителям Тильбюри некоторое понятие об окружающем их большом мире. Сознание того, что они являются частью чего-то неизмеримо большего, чем утлый их городок, делает героев Робинсона выше, значительней, неповторимей, чем обыватели, вовсе лишенные представления о своем месте во вселенной. Тут, конечно, есть заслуга и самого поэта. Кто еще рассказал бы провинциалам о полузабытом, но иногда все же очень нужном старом поэте Джордже Крэббе? Откуда бы еще дошла до них благая весть об их современнике Уолте Уитмене?

Мы уже отмечали, что в основе творчества Робинсона лежат общественно-этические и ин-

дивидуально-психологические проблемы его эпохи. Разумеется, он не мог обойти молчанием и главный конфликт Америки XIX века — борьбу за освобождение негров. Первый аболиционист Джон Браун в поэме Робинсона пророчесствует о последствиях своего революционного выступления. Джон Браун считает себя орудием небесного провидения, избранником, призванным принести себя в жертву во имя спасения многих. Чисто американское соединение религиозной экзальтации и трезвых умозаключений приводит его к выводу, что неизбежный провал его предприятия в конечном итоге будет началом целительного обновления его родины. И он приветствует новый день, хотя зарю его видит в огне и крови.

Стихотворение об Аврааме Линкольне, как утверждает Робинсон, написано кем-то неизвестным вскоре после убийства президента (сам поэт тогда еще не родился). От имени современника поэт возлагает ответственность за преступление на все американское общество, погруженное в низкое торгашество. С точки зрения этого общества, все робинсоновские персонажи —

от нищих до гениев — достойны скорее презрения, чем внимания. Робинсон смотрит на дело иначе. Он любит своих героев, даже самых ничтожных, ибо каждый его неудачник в исключительной мере наделен теми или иными человеческими качествами и в своих мучениях живет куда более полной жизнью, чем окружающее его благополучное мещанство. В этом, пожалуй, другая причина значительности и привлекательности запечатленных стихами провинциалов. Когда же речь заходит о героях и гениях, поэт то прямо, то обиняками показывает и утверждает, что назначение человека не в стяжании богатств, но в раскрытии и беззаветной отдаче себя людям, даже тогда, когда люди еще не готовы принять этот дар. Видимо, так можно сформулировать спор поэта с его веком.

Поэма о Рембрандте изображает великого голландского художника в переломный момент его жизни. Ушла слава, рухнула семья, и одинокий Рембрандт беседует с автопортретом, на котором он еще в блеске молодости и успеха. Развив свой талант, он опередил эпоху и стал

неугоден самодовольному обывателю, который не видит того, что начал видеть художник. Робинсон искусно демонстрирует аппарат экономического и нравственного воздействия, при помощи которого бездарное общество пытается приручить гения. Оно лишает его признания, заказов, денег, семьи. Семья в сознании Рембрандта — вечный горький укор, и в душе его, с чужих слов, начинают копошиться сомнения в истинности и оправданности избранного пути. Лишь вера в то, что его житейская неудача станет с годами духовной победой всего человечества, спасает художника от измены себе.

Рассказывая о Шекспире устами его друга и современника Бена Джонсона, Робинсон обнажает диалектику великой души, в которой то смешиваются, то разграничиваются возвышенно-вдохновенное и приземленно-суетное. Веселый, говорливый Бен Джонсон, человек здравого смысла и несомненного писательского таланта, находится где-то посередине, между взлетами и падениями гения. С одной стороны, он безмерно восхищается Шекспиром, которому в поэзии

подвластно все, несмотря на пренебрежение к канонам Аристотеля. С другой стороны, он в ужасе от унизительных мещанских забот Шекспира, строящего себе особняк. Трезвый талант хотел бы ввести гения в рамки джентльменской добропорядочности, литературной и бытовой. К счастью для поэзии, это невозможно, ибо робинсоновский Шекспир — родной брат пушкинского Поэта: «...меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел».

В отличие от большинства поэтов XX века, Робинсон выразил себя не лирическим автопортретом, но портретами других людей, великих и малых. При этом он был на удивление мало живописен, внешность своих героев обрисовывал редко, пейзаж давал двумя-тремя скупыми штрихами. Созданные им портреты — от крохотных до огромных — суть портреты психологические. Будучи несравненным мастером, он для беглой зарисовки, для очерка обращался к трудной емкой форме сонета, который

давался ему легко — как заметка в записной книжке. Для передачи движений и состояний он прибегает к разнообразным балладным построениям, зачастую подчеркивая течение мысли прихотливыми ритмами и необычной строфикой. Когда же в задачу входит предельно полное изображение жизни духа, тогда на смену строфам и рифмам приходит неторопливый белый пятистопный ямб, послушно следующий сотнями и тысячами строк по извилинам сложных переживаний автора и его персонажей. Здесь читателю есть над чем подумать, есть что перечитать не однажды. Впрочем, сложность поэзии Робинсона не следует преувеличивать. Все у него строго логично и последовательно, и сама сложность проистекает лишь из доскональности исследования и тщательной фиксации его результатов. Некоторые стихотворения, которые при поверхностном взгляде можно заподозрить в нарочитой аллегоричности, имеют простые бытовые мотивировки. Клифф Клингенхаген пьет полынь и угощает гостя сладким вином потому, что заботится о своем здоровье (полынь

применяется в медицине), а гость его явный любитель выпить. Джон Эврелдаун в одном из стихотворений поэта без околечностей именуется помешанным на юбках негодяем.

Робинсон изучает душевную подавленность и окрыленность, ясновидение и ослепление, реальность и галлюцинации. Он описывает готовность к подвигу и паралич воли. Он исследует природу честности и лживости, бездарности и гениальности. Если поэзия действительно нужна современному человечеству, если она наряду с наукой является его необходимым орудием миропознания, то такие исследования не могут не входить в первостепенную задачу современной поэзии. Тем более что ученые стали опытным путем приходить к выводу, что метафоры великих поэтов проливают свет на малоизученные стороны человеческой психики и при правильной интерпретации могут многое сказать и самой науке.

Синтез высокой поэтической речи и разговорного просторечья, резких романтических контрастов и филигранной реалистической ню-

ансировки, библейской эпичности и камерной интимности роднит Эдвина Арлингтона Робинсона с американскими прозаиками второй половины XIX века — Германом Мелвиллом и Натаниэлем Готорном, Амброзом Бирсом и Стивеном Крейном. Несмотря на многолетнюю дружбу с Робертом Фростом, Робинсон одинок среди американских поэтов XX века. Другая великая портретная галерея американской поэзии — «Антология Спун-Ривер» Эдгара Ли Мастерса написана с совершенно иных духовных и литературных позиций. По направлению интересов, по глубине постижения человека Робинсону и в XX веке ближе всех прозаик Уильям Фолкнер. И лишь на заре литературы США есть поэт, чей мрачный романтизм оказал несомненное влияние на Робинсона, которого, вероятно, следует считать единственным достойным преемником Эдгара По. Робинсон принадлежит поэзии XX века не только потому, что большинство им написанного приходится на XX век, не только потому, что он по-современному переосмыслил и развил традиционные формы англоязычной поэзии. Весь склад его

творчества свидетельствует о мировосприятии очевидца и истолкователя эпохи кризиса культуры и общественных потрясений. Не оттого ли ему так свойствен скрупулезный мучительный психологизм, немислимый в поэзии иных времен? Не оттого ли он, при всей реалистической точности деталей и мотивировок, изображает мир с той долей деформации, которая позволяет, изменив нечто в естественном ходе событий и душевных движений, с особой наглядностью вскрыть их тайные пружины и закономерности? Таскер Норкросс непостижимым образом сознает свое ничтожество, и из этого сознания рождается трагическая модель бездарного человека. Джон Браун заранее знает, что его ждет поражение и гибель, отчего исторический смысл его подвига становится подчеркнуто ясен ему самому и, главное, читателю. Иногда (во «Фламмонде», «Люке Хэверголе», «Ричарде Кори» и др.) Робинсон, подобно Фолкнеру, не считает нужным вводить нас в курс происходящего, и читатель оказывается сразу вовлеченным в самый центр драматической коллизии. Таким образом, литературное произведение приобретает

черты того, что в стереоскопическом кино называют эффектом присутствия.

Эдвин Арлингтон Робинсон родился 22 декабря 1869 года в новоанглийском штате Мэн и провел детство и юность в городке Гардинер (Тильбюри-таун его поэзии). В 1891—1893 годах учился в Гарварде, но курса не кончил. Первые три книги поэта: «Дети ночи» (1897), «Капитан Крэйг» (1902) и «Город вниз по реке» (1910) — содержали многие из тех стихотворений, которые сейчас по праву считаются его шедеврами. Однако критика прошла мимо них, а, так сказать, профессионального читателя в США еще не было. В 1902 году тогдашний президент Теодор Рузвельт обратил внимание на голодавшего поэта и устроил его на работу в нью-йоркский метрополитен, а позднее — на таможню. Когда же в 1912—1915 годах страна вступила в полосу небывалого поэтического расцвета, известного под именем «Американского возрождения», образованные американцы с изумлением обнаружили у себя дома «Большую пятерку» выдающихся поэтов. Это были Эдвин Арлингтон Робинсон, Роберт

Фрост, Карл Сэндберг, Эдгар Ли Мастерс и Вэчел Линдзи.

Сборники «Человек на фоне небес» (1916), «Три гостиницы» (1920), «Жатва Эвона» (1921) и «Дионис в раздумье» (1925) принесли Робинсону запоздалые лавры. Особенной популярностью пользовались его поэмы, среди которых, кроме названных выше, следует упомянуть «Дважды умершего» (1924) и «Дом Кэвендера» (1929). Тогда же вышло трехтомное поэтическое переложение легенд артуровского цикла. Эти поэмы успешно соперничали тиражами с самыми известными романами 20-х годов. Робинсон жил то в Нью-Йорке, то в Бостоне, лето же проводил в художественной колонии Мак-Дауэлла, где был окружен всеобщей любовью и пользовался авторитетом мэтра. Скончался он в Нью-Йорке после неудачной операции 6 апреля 1935 года. К концу 30-х годов о Робинсоне стали забывать. Это было время глубокого культурного упадка в США, когда из общественного внимания выпал даже активно работавший Роберт Фрост.

В этих заметках мы пытались ввести чи-

тателя в круг образов и задач поэта. Физическая смерть не прекратила его спора с эпохой и обществом. Шли годы, а поднятые им вопросы становились все более жгучими и неотлагательными. Сегодня Америка и весь мир видят в Робинсоне не только блистательного мастера стиха, но, главное, высокого судью многих этических конфликтов современности и мудрого советчика. Сегодня через три с половиной десятилетия после кончины поэта, нам кажется, что только мы смогли по-настоящему прочесть и понять все им сказанное. Вероятно, завтра его прочтут еще лучше. Ясно одно, что Эдвин Арлингтон Робинсон уже вступил в свои права как один из самых больших поэтов XX века.

Андрей Сергеев

СТИХОТВОРЕНИЯ





ФЛАММОНД

Фламмонд явился ниоткуда
И был для нас сплошное чудо:
Надменный, сдержанный, прямой,
Во взоре бдительный покой,
В изысканных речах ни тени
Сомненья или удивленья, —
И, в общем, он себя повел,
Как императорский посол.

Он вежливо делился с нами
Познаниями и новостями;
Неся иных традиций груз,
Он проявлял примерный вкус,
И демонстрировал манеры,

И обучал нас чувству меры, —
За что ему в награду мы
Давали с радостью займы.

Притом мы как-то не сумели
Узнать, кто он на самом деле
И как давно попал на роль
«Фламмонд, низложенный король».
В своем двусмысленном обличье
Он Оскорбленное Величье
Играл превыше всех похвал
И, может, даже не играл.

Об этом странном вдохновенье
Я слышал разные сужденья,
Но каждый спор в конце концов
Сводился к выплате долгов.
Меж тем предмет горячих споров
От простодушных кредиторов
Скрывался, словно чародей,
В толпе влиятельных друзей.

И более того, с поклоном
К заимодавцам возмущенным
Он обращался, деловит,

И снова получал кредит.
И женщины, сперва речисто
Вещавшие, что тут нечисто,
Потом, от школьниц до старух,
Фламмонда восхваляли вслух.

Была у нас одна вдовица,
Ее старались сторониться,
Но ворошили там и сям
Увядших сплетен старый хлам.
Фламмонд был с ней всегда завидно
Учтив, и как-то стало стыдно:
Никто не видел до сих пор
В ее беде — себе укор.

Был вундеркинд у нас, которым
Все восхищались дружным хором.
Он рос в нужде, но для него
Никто не сделал ничего.
Фламмонд узнал о дарованье
И, обложив богатых данью,
Мальчишке без труда собрал
На обученье капитал.

Два именитых гражданина,
Поссорившихся беспричинно,
Друзьям доставили хлопот
И сократили свой доход.
Фламмонд повел переговоры
И указал на вздорность ссоры:
И вскоре дружеский обед
Покончил с распрей долгих лет.

Про все Фламмондовы затеи
Я даже вспомнить не сумею,
Но что сказать о нем самом,
Высокомерном и прямом?
Какая дикая причуда,
Мешая выбраться отсюда,
В нем вызывала разнобой
Между призваньем и судьбой?

Кто был он, щедрою рукою
Так странно сеявший благое?
Зачем он был всегда на вид
Непроницаем, точно щит?
И знал ли, что его сужденья

Вселяют в нас недоуменье?
Так кем же был ловец сердец
И кем он не был, наконец?

Какую сторону медали,
Его встречая, мы видали?
За чей неистошимый счет
Он сыпал ворохи щедрот?
Но тут излишне беспокойство
Елейно-нравственного свойства:
Природа редко дарит власть
Фламмондствовать и не пропасть.

Да, мы обязаны опеке
Ушедшего от нас навеки,
А чем — мы разберем потом,
Внезапно вспомнив о былом.
Мы все впотьмах шагаем в гору.
Шагнешь — и оглянуться впору
На дальний светлый горизонт,
Откуда приходил Фламмонд.

МИНИВЕР ЧИВИ

Минивер Чиви свой удел
Клял и поры своей стыдился,
Худел, мрачнел и сожалел,
Что он родился.

Минивер предан старине,
Пожалуй, если увидал бы
Рыцаря в латах на коне,
То заплясал бы.

Минивер всех людских забот
Бежал и знал свое упрямо:
Афины, Фивы, Камелот,
Друзья Приама.

Минивер плакал, что с былой
Славой ослабли нынче у з ы , —
Бредет Романтика с сумой,
И чахнут Музы.

Минивер в Медичи влюблен
Заочно был, прельстясь их
званьем.

Как жаждал приобщиться он
К их злодеяньям!

Минивер будничность бранил,
Узрев солдата в форме новой,
И вспоминал про блеск брони
Средневековой.

Минивер золото презрел,
Но забывал свое презренье,
Когда терпел, терпел, терпел,
Терпел лишенья.

Минивер Чиви опоздал
Родиться и чесал в затылке,
Кряхтел, вздыхал и припадал
В слезах к бутылке.

ДЖОН ЭВРЕЛДАУН

— Куда ты крадешься в ночной тени,
Куда ты, куда ты, Джон Эврелдаун?
Дорога темна и погасли огни
По фермам окрест и в Тильбюри-таун.
А ну-ка, приятель, в глаза мне взгляни!
Чего ты боишься, ведь мы одни!
Зачем ты крадешься в ночной тени,
Куда ты, куда ты, Джон Эврелдаун?

— Мне страшен любой посторонний взгляд,
И лесом крадусь я в Тильбюри-таун.
Мужчины спят, — а может, не спят, —
Но женщины кличут: «Джон Эврелдаун!»

Я слышу их сотни ночей подряд
И к ним устремляюсь, хоть сам не рад.
Мне страшен любой посторонний взгляд,
И лесом крадусь я в Тильбюри-таун.

— Не лучше ли было при свете дня
Пуститься в дорогу, Джон Эврелдаун,
Чем так спотыкаться, судьбу кляня,
Две долгие лиги до Тильбюри-таун?
К чему эта вздорная болтовня?
Давай-ка, дружок, посидим у огня!
Не лучше ли будет при свете дня
Пуститься в дорогу, Джон Эврелдаун?

— Но женский призыв оглашает ночь,
И я устремляюсь в Тильбюри-таун.
О, если бы бог мне сумел помочь!
Но с богом не ладит Джон Эврелдаун.
Пусть буря бушует во всю свою мочь,
Пусть призраки ночью уводят прочь,
Но женский призыв оглашает ночь,
И я устремляюсь в Тильбюри-таун.

ДЖОН ГОРЭМ

— Что ты вдруг решил сюда прийти, Джон
Горэм,
И зачем прикинулся, что скорбен и уныл?
Рассмеши иль отпусти меня, а то при лунном
свете
Я тебе напомним слово, о котором ты забыл.

— Я пришел тебе сказать, о чем луна, быть
может,
Шепчет и кричит тебе ночами целый год,
Я пришел тебе сказать, какая ты, Джейн
Уэйленд,
И пускай тебя хоть это малость в чувство
приведет.

— Ну-ка, объясняйся до конца, Джон Горэм,
А не то скользну я и исчезну стороной,
И по пальцам не сочтешь ты всех моих путей-
дорожек,
И следов моих не сыщешь там, где толпы
шли за мной.

— Жаль, что ты не видывала толп, Джейн
Уэйленд,
Верно, ты могла бы покорять их при луне.
Только я исчезну первым — это я хочу
исчезнуть,
И когда меня не будет, ты не вспомнишь обо
мне.

— Так-то ты сказал, какая я, Джон Горэм?
Видно, мне самой тебя придется развлекать.
Погляди-ка, вон луна тебе какие строит рожи,
Притворись хоть на минутку, что не хочешь
убегать.

— Ты — то самое, что в мае меж цветов порхает
И цветком взлетает на мгновенье в небосвод,

Ты — то самое что ночью ловит мышь,
Джейн Уэйленд,
Поиграет с ней, а после для забавы загрызет.

— Не был ты мне мышью никогда, Джон
Горэм,
Как тебе не стыдно даже думать о таком?
Складно сказку сочинил ты, но не более, чем
сказку, —
Не была тебе я кошкой, не была и мотыльком,

— Нынче ночью ровно год, как я гляжу и
вижу —
То крадется кошка, то мелькает мотылек.
Целый год я вижу их, а не тебя, Джейн
Уэйленд,
Ты их спрячь или убей, чтоб я тебя увидеть
мог.

— Посмотри получше на меня, Джон Горэм,
Не дури, подвоха не ищи в моих словах!
Я ведь женщина всего лишь, протори ко мне
тропинку
И не требуй объяснений и раскаяний в грехах.

— Поздно, слишком поздно ты зовешь,
Джейн Уэйленд,
И луна напрасно изливает благодать
На ненужные осколки позабытого былого,
О котором нам с тобою больше нечего сказать.

ЛЮК ХЭВЕРГОЛ

У Западных ворот, Люк Хэвергол,
Где стену плющ пылающий оплел,
Замри и жди, и в сумерках листва
Начнет ронять летучие слова
О той, с которой рок тебя развел;
Она зовет, чтоб место ты нашел
У Западных ворот, Люк Хэвергол,
Люк Хэвергол.

Восток лучи небес не озарят,
И не заблещет твой полночный взгляд,
Но Запад нам сулит исход иной —
Там до рассвета тьма покончит с тьмой:
Бог мертв, и листья по ветру летят,

И в райских куцах воцарился ад.
Восток лучи небес не озарят,
Не озарят.

Из гроба я шепчу в последний раз,
Чтоб поцелуй на лбу твоём погас, —
Он так горит, что не даёт взглянуть
На твой горчайший, неизбежный путь,
Где вера обручит навеки вас,
Где ждёт она тебя в урочный час.
Из гроба я шепчу в последний раз,
В последний раз.

У Западных ворот, Люк Хэвергол,
Где стену плещ пылающий оплел,
Замри и слушай, как шуршит листва,
Но не старайся уловить слова
О той, с которой рок тебя развел;
Лишь верь, что место ты себе нашёл
У Западных ворот, Люк Хэвергол,
Люк Хэвергол.

РЮБЕН БРАЙТ

Хоть Рюбен Брайт на бойне был бойцом,
Чем честно зарабатывал на хлеб,
Притом не более, чем все кругом,
Он был в душе бесчувствен и свиреп:
Когда хирург ему сказал о том,
Что миссис Брайт, мол, волею судеб...
Он ничего не понял, а потом,
Как малое дитя, от слез ослеп.

Он заплатил гробовщику сполна,
Пономаря и певчих одарил
И все, что свято берегла жена,
Печальной веткой кедра осенил,
Замкнул в ее любимый сундучок
И дом заколотил, а бойню сжег.

ВЕЧЕРИНКА МИСТЕРА ФЛАДА

Однажды ночью старый Ибен Флад
На полдороге между городком
И той забытой будкой на горе,
В которой был его последний дом,
Остановился, ибо не спешил,
И, сам себе ответив на вопрос,
Что любопытных нет ни впереди,
Ни сзади, церемонно произнес:

— Ах, мистер Флад, опять на убыль год
Идет среди желтеющих дубрав;
«Пернатые в пути», — сказал поэт,
Так выпьем за пернатых! — И, подняв
Наполненную в лавочке бутылъ,
Он сам себе под круглую луной

С поклоном отвечал: — Ах, мистер Флад,
Ну, разве за пернатых по одной.

В бесстрашных латах раненых надежд
Среди дороги, горд и одинок,
Он возвышался, как Роландов дух,
Вотще трубящий в молчаливый рог.
А снизу из темнеющих домов
Приветный, еле различимый хор
Былых друзей, ушедших навсегда,
Касался слуха и туманил взор.

Как мать свое уснувшее дитя,
С великим тщаньем, чтоб не разбудить,
Он опустил бутылку, держа в уме,
Что в жизни многое легко разбить;
Но, убедившись, что бутылка стоит
Потверже, чем иные на ногах,
Он отошел на несколько шагов
И гостя встретил словно бы в дверях.

— Ах, мистер Флад, пожалуйста ко мне,
Прошу! Давненько я не видел вас.
Который год уж минул с той поры,

Когда мы выпили в последний раз . —
Он указал рукою на бутылку
И дружески привел себя назад
И, соглашаясь, сипло прошептал:
— Ну как не выпить с вами, мистер Флад?

Благодарю. Ни капли больше, сэр.
Итак, «мы пьем за старые года». —
Ни капли больше пить ему себя
Уговорить не стоило труда,
Поскольку, обнаружив над собой
Две полные луны, он вдруг запел,
И весь ночной серебряный пейзаж
Ему в ответ созвучно зазвенел:

«За старые года...» Но, захрипев,
Он оборвал торжественный зачин
И сокрушенно осмотрел бутылку,
Вздыхнул и оказался вновь один.
Не много проку двигаться вперед,
И повернуть назад уже нельзя —
Чужие люди жили в тех домах,
Где отжили старинные друзья.

КЛИФФ КЛИНГЕНХАГЕН

Державшийся всегда особняком
Клифф Клингенхаген как-то пригласил
Меня к себе и щедро угостил;
Мы славно отобедали вдвоем.
Потом он взял стаканы и вином
Один из них наполнил, а в другой
Налил полынной горечи настой
И осушил полынь одним глотком.

Он протянул мне сладкое вино,
И я вскричал: — Что значит этот бред? —
И услышал уклончивый ответ:
— Да так уж у меня заведено. —
И, судьбы наши взвесив и сравнив,
Я понял вдруг, как счастлив этот Клифф.

РИЧАРД КОРИ

Когда он выходил за свой порог,
Мы, жители окраины, глядели
На джентльмена с головы до ног,
Гуляющего в царственном безделье.

При этом он был скромн и умен
И счастлив оказать несчастным милость.
Он первый всем отвешивал поклон,
Он шел, и все вокруг него светилось.

Он был богат — богаче королей, —
Он был прекрасен, — и сказать по чести,
Всяк полагал, что нет судьбы светлей,
И жаждал быть на дивном этом месте.

Мы трепетали, думая о нем,
И кляли черствый хлеб, и спину гнули,
А Ричард Кори тихим летним днем,
Придя домой, отправил в сердце пулю.

БЬЮИК ФИНЗЕР

Когда-то миллион его
С процентов распухал,
Но алчность подвела его,
И миллион пропал,
И надломился человек,
Утратив капитал.

А годы шли, и кто-то вслед
За ними уходил,
Но год пришел, и тот пришел,
О ком весь мир забыл,
Пришел, но вовсе не таким,
Каким когда-то был.

Дрожащий голос, тусклый взгляд,
Поникшие черты,
В одежде — лоск отчаянья,
Опрятность нищеты,
В душе — о призрачных деньгах
Безвольные мечты.

Он знает, что в большой игре
Он больше не игрок,
Он жалко смотрит вам в глаза,
Боясь прочесть упрек
Того, кто стать несчастнее,
Чем он, несчастный, мог.

Он постоянно просит в долг,
Мы не вступаем в спор,
Он никогда не отдает,
Но просит до сих п о р , —
Докучлив, как былой просчет,
Бесплоден, как позор.

ЭРОН СТАРК

Во всем его отверженности знаки:
Нос, как всегда у скряги, крючковат,
Из-под нависших косм глаза блестят,
Как маленькие доллары во мраке.
На сморщенных щеках кустятся баки,
С бесцветных тонких губ слова не в лад
Срываются, толкаются, хрипят,
Как нудная брехня цепной собаки.

Доволен славою своей дурной,
Из года в год по городу с клюкой
Угрюмый Эрон Старк бочком крадется;
Когда же долетает из домов
Чужой беды щемящий слезный зов,
Тогда — и лишь тогда — изгой смеется.

БОЖИЙ ДАР

Поняв, что изо всех людей
Сие открыто ей одной,
Она в убогости своей
Горда наградой неземной —
Сам бог избрал ее, видать,
И так обильно одарил,
Что ей господню благодать
Нести едва хватает сил.

Отмеченный из всех один
И обреченный на успех,
Ее неповторимый сын
Не то, что все, не как у всех:
Предмет мечтаний и забот

Застлал ей зрение, как дым,
Она кощунственным сочтет
Такого сына звать своим.

Она дрожит за свой удел,
Ей даже страшно, может быть,
Вторженьем болей, зол и дел
Свою святыню осквернить;
Не сына, цель она в тиши
Лелеет, прозревая свет
Его возвышенной души,
Где ничего простого нет.

Когда в шумливый праздник он
Обходит стороной народ,
Кто захихикает вдогон,
А кто руками разведет, —
За ним достоинств никаких
Не хочет признавать молва,
Лишь мать в предчувствиях благих
Его триумфами жива.

Но есть соседи, из числа
Таких, что знают, кем бы мог
Он стать, когда б любовь могла

Талантом наделять, как бог;
Проведавшие о цене,
Какой за призрак платит мать,
Они, припертые к стене,
Терзаться будут и молчать.

Она же вся во власти чар
И не нарадуется им;
Когда бы в сыне божий дар
Был с даром матери сравним, —
Тогда, пожалуй, в свой черед
Он сам сумел бы ввысь шагнуть,
Хотя и не до тех высот,
Где розами усеян путь.

ГОРА ВИККЕРИ

Гора, голубая во мгле, встает,
Собою закрыв закат,
А Виккери пальцем не шелохнет,
Но глаза у него блестят.

Блестят, ибо счастьем он наделен
Так, как никто живой.
Но слов золотых не обронит он
И дар не откроет свой.

Виккери весел не без причин,
В мечтах — богат и велик.
...Как-то к нему постучался один
Нищий чужой старик.

Просился на ночь, да так и слег,
А на пятую ночь сказал:
— Ты много узнал обо мне, сынок,
Пора, чтобы все узнал.

Я вижу, мой час уже настает,
И ты это видишь сам.
Я много доставил тебе хлопот
И много взамен отдам.

Вон той горы голубой дары
Я сам получить не смог.
Ты станешь с помощью той горы
Золотым с головы до ног.

А я замолчу, утратив мечты
И вечный вкусив покой.
И будут толпы таких, как ты,
Заискивать пред тобой.

Вот тут написано обо всем,
Что стало теперь твоим.
Иди же, друг мой, прямым путем
И сделайся золотым.

Виккери глянул в прогал дверей
На черную ночь в горах
И оплакал добрейшего из людей
И гордых замыслов крах.

...С тех пор прошло уже двадцать лет,
А может, и двадцать пять.
У Виккери даже и в мыслях нет
Убытки свои считать.

Вдали голубая гора глядит
Знакомым лицом на восток.
Виккери знает, где в ней скрыт
Его золотой песок.

Виккери весел не без причин,
Полмира в мечтах обрел.
Вот так же, всю жизнь пропевший один,
В клетке весел щегол.

Виккери мнится, пора близка,
Золотой уже светит путь.
Но чья-то невидимая рука
Не дает ни шагу шагнуть.

Слов золотых не обронит он
И дар не откроет свой.
Но тщетно молчанье: он обречен —
Все заберет другой.

КЛЕРКИ

Не думал, не гадал, что так застыли
За теми же конторками они
Все там же, как и в давешние дни,
Когда их живость женщины ценили.
Их породнил налет архивной пыли;
Они привычно держатся в тени,
Но рады удружить без болтовни
И в сердце человечность сохранили.

А ты, что скроен по особой мерке,
И ты, что вечно в небо устремлен, —
Вот знатности и высоты секрет:
Владыки и поэты — те же клерки,
В тоске сплетающие сеть времен
И обрывающие пряжу лет.

БЛУДНЫЙ СЫН

Сдается мне, что ты невесел, брат,
И возвращенью моему не рад, —
Но что б еще понудило отца
Заклать на ужин тучного тельца?
К тому ж, не будь я некогда мишенью
Для осмеянья, даже поношенья,
Душа твоя — как и моя когда-то —
Была бы меньшей мудростью богата.
Поверь мне, брат, что на руку тебе
Я изменил скитальческой судьбе
И нищим возвратился в отчий дом,
И встречен лаской, мясом и вином.
Настанет день, и ты оставишь ропот,
Потом благословишь свой новый опыт

И да же , — но загадывать не будем , —
Почувствуешь себя поближе к людям
И сможешь без предвзятости взглянуть
И осознать, что мой нелегкий путь
Был послан нам обоим, может быть,
Чтоб нас с тобой чему-то научить.
Ты, впрочем, будешь рад моей кончине.
Зато, увидев, по какой причине,
Что и зачем творится в этой жизни,
Ты, может, в запоздалой укоризне
О брате зарыдаешь сам не свой —
Усопший брат не то же, что жив ой , —
И чтобы мне в могиле умилиться,
Посеешь надо мною чечевицу.

ДЖОРДЖ КРЭББ

Он редко нужен нам, и в самом деле
Ты можешь спрятать том его в сундук,
Но четкий человеческий сердца стук
И правота его достигнут цели.
Он жив, и что бы критики ни пели,
Его стихов упрямый трезвый звук
По воле моды не заглохнет вдруг,
Хоть лавры Джорджа Крэбба поредели.

Чем дальше мы отставим сочиненья,
Тем имя автора для нас грозней
И неотступней в правоте своей:
Оно разоблачает оскуденье
Пустынных душ, не пламени, но тленью
Молящихся у модных алтарей.

УОЛТ УИТМЕН

И отзвучали песни. Человек,
Который пел их, сделался понятъем,
Как бог, как жизнь и смерть и как
любовь.

Но мы настолько слепы, что не в силах
Прочестъ того, что написали сами,
Или того, что вера начертала:
Мы недоумеваем.

Так песня воплотилась в человека,
А человек преобразился в песню.
Сегодня большинство его не слышит:
Чрезмерно высоко, чрезмерно чисто
Для слуха нашего его искусство,
Чрезмерно радостно и слишком вечно.

Но те немногие, что слышат, знают,
Что завтра он споет для всех на свете,
И все его услышат.

Не отзвучали песни. Лучше скажем,
Что спетое не может отзвучать
И что понятия не умирают.
Когда мы человеческие буквы
Наносим на гранит или песок,
Мы пишем их навеки.

ВЛАСТЕЛИН ¹

Всплывало имя невзначай
Под улюлюканье и вой,
Но вскоре весь объяло край
И всех наполнило собой,
Он стал любовью и судьбой.
А мы — от чьих мы скроем глаз
Позор, которым с головой
Грядущее покроет нас?

Когда в сердцах горел раздор,
Он к нам пришел, совсем один,
И разрешил кровавый спор,

¹ Линкольн. Предполагается, что эти стихи написаны кем-то вскоре после гражданской войны в США. (Прим. автора.)

Найдя причину всех причин.
О, был ли в мире властелин
Столь кроток и неумолим?
Но, меря все на свой аршин,
Мы, торгоши, гнушались им.

Нас удивлял его успех
И забавлял любой провал,
А он сносил досужий смех
И исполнял свой долг и ждал.
Себе не требуя похвал,
Незванный вождь, он вел людей
И терпеливо обучал,
Как в школе маленьких детей.

Грустнейший из владык, подчас
Он бился из последних сил,
Но мало требовал от нас
И много меньше получил.
А мы копили злобный пыл
И гнусно втапывали в грязь
Того, кто верно рассудил,
Что дети учатся, резвясь.

Он к издевательствам привык,
Но стал до времени седым;
Его преображенный лик
Возвышен и непостижим.
Но сквозь таинственности дым —
Печаль, участие и упрек
Того, кто не был молодым
И старым стать, увы, не смог.

У нас иного счета нет,
Чем счет годам, — но в том ли суть.
Он древен был, явясь на свет,
И вечен стал, окончив путь.
Не поступаясь своим ничуть,
Он жил для всех и мог почти
По-олимпийски вниз взглянуть
И по-спартански все снести.

Судьба могла ему дарить
Любовь и почестей угар,
Он сам в себе сумел развить
Ужасного смиренья дар.

А мы, во власти новых чар,
Впервые видя неба высь,
На детских крыльях, как Икар,
В Неведомое вознеслись.

Он нас заставил воспарить
И посмотрел на наш полет.
Но, быстро порастратив прыть,
Мы вновь — самодовольный сброд.
Зато мы помним вкус высот
И знаем Гения печать.
И если Гений к нам придет,
Его мы сможем распознать.

ПОЭМЫ





ДЖОН БРАУН

Хоть в эту ночь для твоего же блага
Я был бы рад услатить тебя подальше,
Свидетель бог, как искупить я жажду
Мои к тебе холодные слова.

Несчастливая жена моя, была ты,
Наверно, много больше одинокой,
Чем я, узнавший ужас одиночества
Среди внимающей толпы. Так вышло:
Господь избрал для неисповедимого
И неотложного деяния того,
Кто стал искать на ощупь, спотыкался,
И мучался, и ликовал при мысли,
Что, прахом став, он обретет свои
Слова о том, что было, есть и будет,
На что при жизни не хватало сил.

Как ни душите их землей могильной,
Бывает, кости прокричат могильщикам
Всю правду — много громче и понятней,
Чем сонм ораторов. Моя родная,
Отвергнув здравый смысл, ты предпочла
Печаль, — так что ж, последней ночью перед
Последним дн е м , — печалься о себе,
Не обо мне, чей распростертый призрак
Так полно жив. Я смерти не найду
В том, что они со мною сотворят.
Им следует своей страшиться смерти
С восходом солнца. Среди них ведь есть
Такие, что трудов своих невзвидят
От слез, от состраданья к старику,
Который взялся богу подсобить
Из состраданья к миллионам. Кажется,
Их слезы им подскажут лучший способ
Сказать все лучшее, что в них сегодня:
Не скажешь более того, что есть,
Как не пойдешь иным путем, чем тот,
Что озарит тебе грядущий день.
О, сколько еще будет этих дней
И сколько еще пойдут на гибель,
Как я, за всех. Скорей бы уж пошли!

Я говорю, скорей бы уж пошли —
Чтоб всё, что говорю я не услышан,
Услышали и, может, взяли в толк,
Что за безумие владело мной
И вынудило устремиться к цели —
Действительной или химерной...
Меж тем во мне покой и безразличие
К нелепым сплетням, что ползут по следу:
Тут было надо положить начало.
И вот, когда давно знакомый Голос
Мне тысячей молчаний возвестил
Об окончании приготовлений,
Я начал смертный труд, который станет
Моею жизнью. Нет пути иного,
Чем древний путь войны за обновленье
Страны, — чтоб не смогла себя узнать
Страна, сегодня чуждая себе
И миру, выскочка меж государств,
Как я среди людей. И будет так,
Лишь нужно повторять и повторять:
Как дети, любят повторенье люди,
И сколькои весь век живут детьми!
Господь наш всеблагой устроил так,
Чтоб иногда пророк или безумец,

Страхнув с них благодушье, устыдил их
И обратил к деяньям. Большинство
Сегодня видят то же, что отцы их
Видали — или думали, что видят.
Не важно, впрочем, что они видали.
Бывает, одинокая душа
Услышит бога, — что же, тело вздернут,
Как некогда сжигали на костре,
Хотя душа — неважная растопка.
Огня теперь немного, мы висим
С полчаса меж небом и землей
Для блага государства. Если люди
Нечаянно увидят много больше
Того, что им отпущено увидеть,
То им тотчас же хочется швырнуть
Отступника, как некий плод измены,
Как ягодку незрелую, на землю, —
Они на этой же земле — цветочки
И не подозревают, что за плод
Меж ними зреет для всеобщей жатвы.

Скорей бы уж пошли они! Скорей бы
Пришли — пока не слишком много крови
Прольется из-за нашего отступничества.

Коль на заре иного строя — ад,
Пусть этот ад скорее разразится, —
Так вижу я, способный в эту ночь
Увидеть дальше тех, кто рассуждает,
Кто за меня боится или кто
Меня желал бы ввергнуть в вечный
огнь,
Который мне не страшен. Плоть мою
Огонь иссушил при жизни до скелета, —
Наверно, чтобы легче мне пойти
На дело. Если, сделав хорошо,
Я сделал плохо, пусть меня считают
Глупцом, пусть мое имя там, в истории,
Живет недремлющим вопросом. Сплетни
Орудий не остудят, не затупят
Клинков, не обесценят истины...
Я все равно разжег такое пламя,
Какое не затопят ливни ненависти,
Какое каблуки на миг притушат, —
И вновь из дыма пламя, ярче, ярче,
До яростной грозы — чтобы очистить
И исцелить больное полушарие
От давней распри, от которой гневно
Откажется и отвернется время.

Сейчас, в ночи, меж спорящих есть люди,
Что видят жизнь в моих последних
вздохах

И первыми услышат смертный зов:
Сначала будет смерть, а жизнь — потом.
Я повторяюсь, но не ради слов,
Которые ты слышала и раньше, —
Но ради сущности того, на что
Господь меня подвигнул. Обреченный
На смерть, как я, должно быть, трудится
Не за себя лишь. Я не шел за славой,
Она сама была со мной, как друг,
В то время, как друзья мои боялись
Признаться, что они мои друзья,
Когда с них требовалось одобренье
Наветов на меня. И все ж они —
Мои друзья, и я не упрекнул их,
Отдавших все, что им дано отдать.
Я был безумен, я свое содеял,
И ты, жена, по мне и сыновьям
Скорби не боле, чем скорбит в раю
Душа, с добром и злом окончив счеты.
Здесь, на земле, немного для тебя
Осталось; то же, что еще осталось

Для плоти и для духа, с миром ты
Получишь, — наконец, не содрогаясь
От страха за меня; я буду мертв
Для замыслов и действий, от которых
Растягивались дни твои, а ночи
Пугали чернотой и расстояньем
Меж нами. И когда придет молчанье,
В воспоминаниях тебе я стану
Родней и ближе, чем я есть. Ты видишь
Лишь оболочку человека, старше,
Чем годы бы могли его состарить.
Не убивайся же, когда умрет он.
Была пора служить, и он служил;
Сейчас же самая пора хоть кратко,
Хоть скупно, но сказать спасибо тем,
Кто, страх преодолевая, поддержали
То, что зовут изменой, — это слово
Пока что подойдет не хуже прочих.
У многих дел людских названья нет,
И пусть мое пребудет в их числе.
Я этой ночью не ищу названий.
Князь Славы безымянным был, пока
Ему не дали имя люди, княжил
И до того, как мы его узнали

И оскорбили тысячами зол,
От одного из коих этот мир,
Бог даст, очистится огнем и кровью.

Как я мечтал, что можно малой кровью
Очистить мир, как верил, что мечты
Не вовсе тщетны... В день, когда тебя я
На Севере оставил ожидать,
Терзаться и стареть от одиночества, —
Мне Голос был, велевший пребывать
В хранительном неведении того,
На что иду я. Если бы тогда,
Уже измаяв годы для исканий,
Окончившихся там, где начались,
Уже себя измучив ради замыслов
Отвергнутых и новых тщетных планов,
Уже устав высматривать людей,
Надежных и свободных от предчувствий, —
О, если бы я знал тем летним утром,
С тобой прощаясь, знал бы до конца
Все, до всепоглощающего слова,
Которое сожжет ответы наши,
Как молния испепеляет лист, —
Я мог бы задрожать тем летним утром,

Я мог бы застонать — и отступиться.
И многие сегодня честно скажут,
Что лучше бы тогда я отступился.
Так было, так и вечно будет с теми,
Кто волею своей идет на смерть,
Не дожидаясь, чтоб его правительство
Избрало и одобрило для казни.
Мы слабо разумеем суд молвы,
Узнавшей нас по нашему безумству
И не дающей время для раздумий;
Нам некогда, нам нечего терять.
Кто может нынче меньше потерять
И больше приобрести, чем я, твой спутник!
Пусть я говорю как обреченный,
За чьею смертью видно только смерть, —
История найдет слова понятней,
Чем те, что люди до грядущей жатвы
Сумеют осознать. Я уйду,
Мой путь кратчайший странно удлинился,
Чтоб, закалившись, я дошел до цели.
Погибнув, я найду слова понятней.

РЕМБРАНДТ — РЕМБРАНДТУ

(Амстердам, 1645 год)

Да, это тоже ты. Таким ты стал.
Вглядись получше и узнай себя,
Лишившегося бархата и перьев
И положения, — и припиши
Судьбе свою теперешнюю участь
И ситам времени — свое бесславье.
Подумай о себе, Рембрандт ван Рейн.
Каким ты стал! Ведь ты когда-то был
Заметною персоной, живописцем!
И вот ты вновь, и на плечах твоих
Нет украшенья, кроме головы,
А голова по-прежнему твоя.

Да, слава богу, голова цела —
Похоже, что она тебе, дружище,
Еще изрядно может пригодиться.
Повсюду срочно и неотвратимо
Сгущаются и наступают тени —
Похлеще тех, которыми когда-то
Ты возмущал и загонял в тупик
Почтенных амстердамских горожан:
Увидев, что голландские их лица
Полузакреты золотистой тенью,
Они кричали, что такой портрет
Не может стоять пятьдесят флоринов.
Они не понимали, что господь,
Создавший свет и цвет, — одновременно
И не без оснований, — создал тень.
Припомнив, как заказчики бранили
Мое коварство и свою оплошность,
Бедняжка Саския перед кончиной
Немножко посмеялась — и над ними,
И надо мной... Потом ее не стало.

Смотрю я на тебя и удивляюсь,
Что это тоже я, каким я был
Или каким при помощи искусства

Себя я в мутном зеркало увидел.
Да, тут немалый повод подивиться,
А не всего ли я уже в себе
Добился и не все ли потерял.
Но ты, который в зеркале, и ты,
Который на холсте, высокомерно
Не веришь ты, что все уже свершилось.
Пожалуй, в этом некая опора
Для Рембрандта и Титуса. Вдвоем
Сидят они на старом пепелище —
Отец с воспоминаньями и сын
С короткой памятью. А остальные
Все умерли — один, другой и третий...
Потом и бедной Саскии не стало,
И мир вообразил, что вместе с нею
И сам я умер. Так оно удобней.
Действительно, о чем тут говорить?
Ну да, художник, пишущий впотьмах, —
Он, полоумный, не поймет, что помер
Еще до смерти и живописует
Неописуемое. Так по злобе,
По слепоте Голландия твердит,
По вздорности — бог знает, почему.
Но если знает бог, то Рембрандт знает.

И так ли уж существенно, что знает
И говорит Голландия? Ей нужно,
Чтоб все голландцы были, как один,
Как кролики, почти неразличимы,
Аптекари, солдаты, крысоловы.
За чем же стало? Всех напишет Франс
И с вас, довольных, денежки получит.
Для Франса все вы на одно лицо —
Как и для вас самих. Тебе же, друг мой,
Каким тебя я сотворил однажды,
Понадобятся зубы, и глаза,
И кулаки, и прыть, чтоб утвердиться
И миру снова показать себя.
Теперь ты в одиночестве, и мода
К твоим разгневанным стопам не бросит
Цветочка. Саския прекрасно знала,
Что так оно и будет, и, стараясь
Сомнения рассеять, предо мною
Червонцы рассыпала и смеялась...
Потом и бедной Саскии не стало.

Взглянув на путь, которым ты шагаешь,
Уже не столь развязный, как бывало,
Я начинаю думать, а не благо ль,

Что Саскии с тобою больше нет?
Все это бы ее добило прежде,
Чем кончилось иль даже началось.
Жена не может вечно верить мужу,
Что он невидимое видит, ждать,
И верить, и не обронить словечка,
Не капнуть яда. Ни одна жена.
Да, да. В конце концов она могла бы
Увидеть только то, что видят все,
И от души запричитать, как все,
Что ты бежишь за призраком по пыльной
Дорожке, приводящей в никуда,
Что блажь и непризнание ошибок
Смутили ум и помрачили зренье
И ты прикинулся, что видишь свет,
Лишь оттого, что испугался мрака,
Который окружил тебя. Потом
Она могла бы воскресить мечтами
Успех и обветшалую тщету,
Окутать мужа саваном иллюзий
И, породнившись с мертвою подделкой,
Утратить понимание живого.
И очень может быть, уже сегодня
Жена невольно и нетерпеливо

Вкусила бы бесовского плода,
Предназначавшегося ей одной,
И с помощью какой-нибудь уловки
Заставила бы мужа вместе с нею
Почувствовать и полюбить тот вкус
Растленья ценностей и смерти в жизни,
Какой всегда был свойством адской пищи
Искусства, предающего себя.
Потом она, тоскуя, услышала б
Нестройный и недолгий хор восторгов
Вокруг имен шумнее, чем твое,
И стала бы униженно и злобно
Искать твое забывшееся имя
На хрупких урнах, что в себя едва ли
Вместят и прах сегодняшних кумиров.
Тогда она, рожденная для счастья,
Для полноты мгновения, прочла бы
Во взглядах сострадательных друзей
И избегающих меня собратьев
Все возрастающую отчужденность,
Холодный ужас моего паденья.
О, будь она жива и преврати
Мои предположения в реальность —
И то бы я не смел просить ее

Настойчиво смотреть со мною в ночь,
Где я годами ожидал просвета,
Который открывался наконец
Для нас с тобой и, может, для кого-то,
Чьи лица нынче трудно различимы
В руинах, окруживших нас с тобой.

Вот так произошло паденье наше.
Верней, не наше: только дом мой рухнул.
Ты уцелел, поскольку жизнь в тебе
Намного долговечней брэнной глины
Моей, которая покуда нечто,
А в некий час — ничто. Ты на холсте,
Спасенный, я же дожил до того,
Что вижу чертиков: вот так я пал!
Все вывихнуто, все вокруг черно:
Вот так я пал! Спасибо, кости целы,
И зубы, и глаза, — чтоб я увидел
Среди теней мерцающее действо
Отвратной нечисти, в своем кошмаре
Не столь реальное, как ты, дружище,
В своем пренебрежете к их актерству.
Но нам с тобой придется их уважить
И поглядеть на них: они же черти

И, будучи чертями, милосердной
В ниспровержении убогой славы,
Чем мода, чем минутная новинка,
Которая от внутренних пороков
Гнилою грушей разобьется, пав,
На землю равнодушную. Дружище,
Твое молчание ценя, я каюсь
В наивной, неумелой трате красок,
Которыми работать не привык, —
Мне не дано живописать словами.
Но что порой бывает, кроме них,
У бедствующих душ? Ты говоришь мне:
«Смотри, чтоб твою душу не похитил
Лукавый демон самоистребленья».
Ты, правда, мог бы это мне сказать —
В тебя я слишком верю, и стерпел бы,
И не ударил бы, и не замазал,
И наново бы не переписал.

Мой добрый друг, мингер Рембрандт ван Рейн,
Когда-то некто в Амстердаме, ныне ж
Почти никто, — я не отдам себя
На развлеченье нечисти голландской

Или какой еще. Не так давно
Голландия была и вправду адом,
И мы дрались с чертями пострашнее,
Чем нынешние. Эти только тени.
Но и с тенями трудно не считаться:
Из ниоткуда возникает склизкий
Тиран и, постепенно воплощаясь,
Становится почти живым и правит,
Всесильный от безумья. Признаю
Резонность твоего предупрежденья
И волею-неволею обязан
Тебя послушаться: у нас с тобой
Единая судьба, хоть ты и можешь
Немного свысока взглянуть на время,
И обстоятельства, и осужденье.
Мы знаем, что поток наш золотой
Когда-нибудь прорвется сквозь плотины,
Мы знаем, что живой светильник наш
Не погасить и не поколебать
Ни одному из нидерландских бесов, —
Ну разве что они для подготовки
Сперва на небе солнце помрачат.
Но где им! Я на страже; вас же, сэр,
Благодарю за память и заботу.

Но есть на свете бесы долговечней,
Чем злобные, но смертные сомненья,
Которые проходят по обломкам
Меж остовов великой катастрофы.
Я говорю о дьявольской семейке,
Достопочтенной — но не без урода,
Внебрачного кретинчика, который,
Как неудача тайная, вспорхнет
На только что написанную вещь
И скажет: «Ты закончил? Ну и что?»
Уродец этот, как античный хор,
Для блага нашего твердит о том,
О чем боятся говорить друзья:
«Допустим, Рембрандт, что-то ты узнал.
Ты веришь в это. Ну, а дальше, дальше?
А ежели тебя признают люди
Через полсотни, через сотню лет?
Ты за сто лет пойдешь к таким чертям,
Что наплюешь на всякое признание.
И если ты, ничтожная козявка,
С такой судьбой способен примириться,
То будешь спать в забвенье так же мирно,
Как праведник или отцеубийца.
А если ты, как ты считаешь, вечен,

Душа твоя смеяться будет, вспомнив
(Не знаю, есть ли память у души)
О необузданном твоём стремленье
Марать полотна охрами и маслом
И раздоказывать тщеславья ради,
Что ты один узнал, на что способен
Наш смертный глаз, который, может, завтра
Укажет сам бессмертную причину
Неполноты сегодняшнего зренья.
Ты думаешь, что смертный глаз твой лучше,
Чем смертный глаз селедки? Кстати,
Рембрандт,

А почему б тебе не написать
Селедку или, скажем, ветчину?
В свинине столько цельности, что ты
Найдешь в ней то же совершенство нашей
Голландской красоты, что и в чертах
Вкушающих ее господ и дам.
Бог создал человека и скота,
И лишь ему решать, кто станет кем».

Так говорит он, Рембрандт, если слушать».
Поговорит и сгинет. И порой

На том же месте возникает новый
Собрат его с резонами помягче —
Поделикатней говорящий правду
Не деликатную. Допустим, это
И в самом деле правда, ибо есть
Во мне струна, которая ей вторит,
Что и естественно — я инструмент,
И силы некие на мне играют.
Он мне твердит: «А ты бы преуспел,
Когда б не зарывался, если б мог,
Ответив «да», притом подумать «нет»
И сделать среднее меж «да» и «нет».
Не видя то, что видит Аполлон,
Твои голландцы на тебя сердиты
За беспардонный перевод флоринов
И будут клясть тебя до самой смерти,
Всем поколением не понимая,
Что золотистой тенью ты прославишь
Их лица блеклые и сохранишь
Черты, утратившие имена.
Но ты и сам, быть может, догадался,
Что это ровно ничего не значит:
Ты написал свою картину так,
Как повелел твой демон. Продолжай

В таком же духе и любой ценой, —
Ты хочешь этого, — и свой держи
Светильник так, чтоб он не ослепил
Тебя ни паутинной блестящей страха;
Уверен будь, что если сам ты видишь,
Увидят и другие — даже если
Увиденное их лишит покоя
Напоминая о досадной тени.
Но в ночи надвигающейся будет
Рептилии несытые роиться
Вкруг Рембрандта, который не доволен
Ничем и никогда, хоть убежден
В грядущем громе славы, — а она
Пока не стоит даже тени звука
Для слуха Нидерландов. Впрочем, разве
Ты вымотался и опустошен настолько,
Что от бездействия возникла зависть,
Извечный враг творцов и их творений?
Ты что, идешь на новое служенье,
Постясь за счет того, чего не любишь?
Ты не хозяин, Рембрандт, ты слуга,
Но ты не из числа таких рабов,
Которым плен милее, чем свобода.
Ты из немногих избранных счастливыхцев,

Ты знаешь о своем предназначеньи
И сам терзаешь робкий свой покой,
Владея слишком острым инструментом.
Возьми же в руки бич и разгони
Чертей своих по гнездам в преисподней.
Забудь о днях своих, прости года,
Которых вряд ли больше, чем хотела б
Для насыщенья полного твоя
Навязчивая страсть. У ног твоих
И сорока годов не насчитаешь, —
И те куда медлительней забвенья,
Которое настигло и вцепилось
Железными руками и ногами
И ездит на тебе, как злой старик.
Что возражать? Пускай пока поедит, —
Настанет время — сам же убежит.
Ты вряд ли доживешь до той свободы;
Смертельные удары, как известно,
Порой сопутствуют фортуне, ибо
Забвение сторонится могил —
Так иногда бывало, так и будет».

Вот что твердит твой деликатный бес.
И если прав он, то зачем роптать,

А если нет, зачем писать? Зачем
Оглядываться на былое счастье,
Былые розы и былую славу?
Они ушли, и Саския ушла —
А без нее от них не больше проку,
Чем от витка Самсоновых кудрей
Вокруг его мизинца перед самым
Крушеньем храма. Ты ведь не забудешь,
Что в доме Аполлона нет часов
Или календарей, чтоб узнавать,
Насколько ты далек от Амстердама;
Ты не забудешь, что один закон
Тебя заставил видеть и закрыть
Увиденное от голландских глаз,
Пока о нем ушам голландским кто-то
Не прокричит. И это, друг мой, тоже
Дорожка к смерти. И поскольку ты
В начале странствия наивно веришь
В недолгий путь и горестно вздыхаешь
О славе, до которой не дожить,
И лаврах, до которых не достать, —
То отчего теперь не приспособить

Величие и золотой мираж
К канаве поудобней, где во тьме
Не видно тьмы и в лужах безразличны
Помои нидерландского презренья.

БЕН ДЖОНСОН ЗАНИМАЕТ ГОСТЯ ИЗ СТРЭТФОРДА

Я вам, как другу нашего Шекспира,
Признаюсь: он единственный из нас
Умеет царство феи сочетать
С ослиной мордой — гармонично, складно,
Как шиллинг с шиллингом. Он из своей
Волшебно не скудеющей казны
Способен Трою или Рим наполнить
Толпой все тех же вечных англичан.
Занятно бы услышать, что о нем
Над узким Эвоном толкует Стрэтфорд —
Вы, олдермен, и ваши горожане.
Кому-то, верно, хочется, чтоб он
Вернулся в маляры иль коновалы

Иль стал бы вашим докой-землемером
Иль мудрецом кожевенного цеха.
Не вам, я понимаю, что не в а м , —
Я вижу в вас спасительное пламя,
Стихию жизни, чистый теплород;
К тому же мне рекомендует вас
Наш общий друг, разборчивый в друзьях.
Да были б вы «унылой серединой», —
Как говорит он, подразумевая
Костяк и мышцы наших островов, —
Из ваших рук не получил бы пива
Терпандров¹ признанный собрат Бен Джонсон.
Отправясь репетировать в театр,
Он не включил бы этих подношений
В программу развлечений земляка —
Ведь он не герцог Стрэтфордский. Поверьте,
Я город ваш хулить не собираюсь:
Все города похожи друг на друга,
И все они не Лондон. А в Шекспире
Засел ваш Стрэтфорд, как бы он ни спорил,
Но в нем ведь есть — бог в помощь — сам
Шекспир!

¹ Терпандр — древнегреческий поэт и музыкант (VII в. до н. э.).

Я говорю ему: «Штудируй греков!» —
И знаю, что ничто — ни бог, ни греки —
Такому не совет. Всего с избытком
Дала ему судьба, и он получит
Все — или пропадет, или сбежит
Из Лондона, где слишком много лордов.
В них полпричины бед его. Наверно,
У бесов нет гнуснее испытанья,
Чем пыль подмостков и актерский пот
Перед лицом хихикающих лордов.
Король душой, он не король на деле.
И слава богу. Сделавшись монархом,
Он изменил бы мнение о людях
И стал их презирать — и от тоски
Отрекся б от престола или лопнул.
Он даже Стрэтфордом не смог бы править,
Хотя полсвета, коль не целый свет,
Должны б венчать его таким венцом,
Который под луною впору лишь
Бездомному посланцу Аполлона:
Везде, где нет наяд, и в том числе
На Эвоне, он дома не найдет.
Пускай он там построит особняк.
Вы олдермен, а он домовладелец.

Все чин по чину. От подобной мысли
Я и во сне могу расхохотаться.

Так вы его приятель с малолетства...
Должно быть, необычайным мальчишкой
Его видали те, что могут видеть,
Должно быть, их пугало, как серьезно,
Недетскими глазами он глядит
На мир, в котором сверстники его
Высматривают разве что синиц.
Итак, его недетские глаза,
Пророчества соседей, ваша дружба
И что еще? Ах да, отец и мать —
Он поминал их — и еще собака.
Мальчишка ведь не может без собаки —
Хоть кто-то должен понимать его.
Вот и сейчас ему нужна собака,
Нужна, как, может быть, ничто другое;
Заслуженная, верная собака,
Что встретит у дверей, вильнет хвостом,
Потом положит лапы на колени
И выслушает жалобы на ближних,
На бывшие и будущие беды,
И скажет: «Брось, хозяин, это вздор!»

А может быть, собака не нужна...
Я говорю ему: «Штудируй греков!» —
Начну про Аристотеля, а он —
Когда он в духе — тотчас же найдется:
— Я знаю, Аристотель знает все,
Да я вот Аристотеля не знаю. —
Он не в ладах с законом трех единств
И даже, кажется, доволен этим;
Он ломится сквозь время, как сквозь лес,
Как будто там века не проторили
Дорог, — но для него и нет дорог,
Он их не видит, — а когда не видят
Его глаза, то это просто страшно.
Но что поделаешь, коль он таков:
Несущийся неведомым путем
Наш дикий зверь, которого вспугнули
Не крики, не пальба, не прочий треск,
Но яростные демоны, недавно
Избравшие его своим жилищем.
Он из-за них готов по самой мелкой
Причине дико вдруг воспламениться.
Но пламя, к счастью, быстро затухает.
Он знает сам, что надо гнать из сердца
Бесплодную дурманящую злобу

И охранять в нем радостную цельность,
Былую боль и долгую печаль.
Со мной друзья, которые гадают,
Что друг наш думает о нас, и те,
Кто выше нас, и кто в его глазах
Стоит над ним — а это слава богу,
И, коль подумать, очень по-английски.
Мы веселим или гневим богов,
Устраивающих все это с целью
Взглянуть, как нам щекотно, как наш друг
Расчесан в кровь тщетой домовладенья,
Хотя он враг тщеты и властелин
Не только Англии с ее морями.
Вам не чудно, что я тут балагурю?
Меня он видит, но не замечает, —
Кто знает, может, так оно и лучше.

Однажды в воскресенье мне навстречу
Шагает разодетый джентльмен.
Нет, не кричаще. Все же люди смотрят.
— Алло, милорд, — кричу я. Он не слышит.
Проходит мимо. Я гляжу вослед
И думаю: нелепое школярство,
Ведь он стареет, — бог его храни, —

Ему же сорок пять, а коль послушать
Его сужденья — дважды сорок пять.
И много больше. Да, он стар настолько,
Чтобы по праву быть отцом вселенной.
— Бен, ты схоласт, скажи, который час? —
Обронит он, и снова в нем сияет
Извечный свет вне времени и места,
Его необъяснимый и лукавый
Покой полубезумца, что смеется
Над легкой славою и над друзьями,
Смеющимися над особняком
И герцогскою жизнью в Уорикшире.
Понятно, не без зависти при этом.
Несчастный Грин! Увы, душа его,
На небо возносясь, была зеленой,
Как имя на земле. Ведь он из тех,
Кто мастерит наперекор судьбе
Марионеток, тонущих в чернилах,
Из тех, кто некогда до одуренья
Долбил Эсхила с Еврипидом — ныне ж
Кабацкой шваброй по полу метет
Свой первый и последний гонорар.
На фоне бездари талант виднее,
Так это было в Риме и Афинах,

Так это в Лондоне, где Грин посмертно
Подыгрывает нашему дружку.

Да, он вернется в Стрэтфорд. Мы же здесь,
Поняв, что Лондон без него не Лондон,
В один прекрасный день махнем к нему —
И не понравится его жене.

И призадумаемся мы над тем,
Что скрыл от нас транжиривший всю жизнь
Слова о женщинах. Сказать по чести,
Сейчас он женщин мало замечает.

Он говорит: «Не многие из них
Достойны расшифровки», — но при этом
Его сосет какой-то тайный червь,
И в воздухе витает умолчанье.

Не иначе, он наплясался так,
Что до сих пор его мозоли ноют.
Но, впрочем, нет нужды влезать в былое,
Тем более в потемки. Лишь замечу,
Что Стрэтфорд (как и Лондон) получает
В его сонетах больше, чем за них
Ему заплачено: он сотворил
Из ядовитой тени звонкий миф,
Который стал навеки фактом жизни.

Не нам его судить, хотя досадно,
Что эта тень найдет в столетьях отклик
Намного полнозвучнее, чем та,
Что, уловив его силками брака,
Заставила сбежать в ученый Лондон —
Уже ученого — для прохожденья
Иных наук. И он еще мечтает
Прикинуться, что он такой, как все!
Но как бы и к чему б он ни стремился,
Он избегает нас, он ускользает;
С другого бы за это мы содрали
Три шкуры — он же обладает чем-то,
Из-за чего его пренебреженье
Приятнее иного панибратства.
Теперь ни слова из него не выжмешь —
А мы ведь слушали его часами
И узнавали о себе такое,
Что, правда, знали прежде, только в этом
Не видели ни смысла, ни значенья.
И были среди нас — да есть и ныне —
Расслабленные души, для которых
Безапелляционный приговор
Любимца Аполлона означал
Конец надежд и самоотреченье.

А кое-кто преисполнялся злобы,
Его своим считая палачом.
Да, он казнил и сам того не знал,
А может, знал и тайно сокрушался
О хрупкой глине... Только все не просто.
По солнышку гуляя, мы встречаем
Толпу зевак, в глазах которых мир
Куда разумнее, чем мир, который
Наш друг сегодня строит для себя.
Ему сегодня шутка не в подъем,
И в то же время он везде и сразу
Подметит проявления закона,
Который, если малость зазеваться,
Огонь и железо на тебя обрушит.
Я объясняю это так, что сила,
Творившая его, вдруг испугалась
Его чрезмерных свойств и отняла
Неведенье, иллюзии и веру —
Все то, что охраняет от бедлама,
От разрушающего душу зренья,
И замыкания в самом себе.
Когда-нибудь он лопнет, как бочонок
С перебродившим до безумья элем:
Нельзя сберечь то, что нельзя беречь,

Что лучше бы забыть, да невозможно.
Все будет, как я говорю, и больше,
И в «Глобусе» такой раздастся рев,
Какого в Колизее не бывало.
Его предмет меняет цвет волос:
Сейчас она зовется Клеопатрой
И посему не может быть брюнеткой.
Но что мы тут судачим, как старухи?
Вы — олдермен, и что он сотворил,
Для вас важней, чем как он это сделал.
Сам бог ему секрета не откроет,
Хотя они работают вдвоем,
А дьявол помогает им. Работа
Идет не днем, так ночью, отчего
Наш друг брюзжит наутро. Он немолод,
Желудок беспокоит, сон тревожен, —
А лишь они способны исцелить
От творчества, щадящего творца
Не больше, чем роскошный особняк.
Должно быть, что-то приключилось в детстве,
С чего возникло детское стремленье
Заставить Стрэтфорд уважать себя.
Ну-ну. Надеюсь, он свое получит,
И все его коровы, овцы, свиньи,

Лягушки, совы и единороги
Не слишком досадят его ушам.
Само собой, его мы навестим.

Вить может, прав он, и на расстоянье
Двух дней от Лондона к нему слетит
Какой-нибудь небесный ветерок
И оживит его. Но никогда
Он вновь не станет уорикширским фавном,
Который превратил себя в легенду,
Еще когда я, заявившись в Лондон,
Моргал на вспышки его первых молний.
Подкравшееся незаметно время
Его смирило, и его мечты,
Когда-то радужные, потускнели.
Он видит, как при трезвом свете дня
На старческих щеках блестят румяна;
Он видит, что величье иногда
С годами переходит в заурядность;
Он знает что-то, что по воле мира
В других умолкло, чтобы в нем кричать;
Он знает, как высокие друзья
Толкают вниз, где низкие враги
Стараются ужалить прямо в сердце.

Но вот что для него всего ужасней:
Он жаворонком может распевать
У врат небесных столько, сколько хочет,
При этом видя только те врата,
У коих утомившаяся глина
Ждет ямы и кладбищенских червей.

Я тут столкнулся с ним на Лэмбет-роуд
И, верите ли, прямо ужаснулся:
Сутулый, руки за спиной, бормочет,
Угрюмый, как душа из преисподней.
— Ты что, — спросил я, — сызнова влюбился? —
Он пожалел меня и усмехнулся.
— Нет, — отвечает, — просто все — Ничто.
Придешь — уйдешь, когда конец — конец;
Мы все, как мухи или пауки,
Придем — уйдем; когда конец — конец.
— Да что с тобой, дружище, — говорю я, —
Ты так поешь, как будто стал пророком. —
Он теревит бородку и в ответ:
— Ну, как бы это выразить попроще?
Возьмем, к примеру, муху, чья судьба
Летать, летать, летать, воображая,
Что у нее железный грозный вид;

Паук ее поймает паутиной,
И съест, и крылья вывесит сушиться.
Так поступает с нами мать-Природа.
Затем служанка шваброй наука
Смахнет. И это тоже мать-Природа.
Все превращается в Ничто, в Ничто
В Природе, где цари и тараканы
Становятся одним и тем же прахом,
И старые размеренные звезды,
Что пели хором, вечно будут петь
Все ту же песню. —

Услыхав такое,
Что делать сострадательному другу,
Как не свести его в приют, подобный
Тому, где мы теперь, и напоить.
Он выпьет, и тотчас его развозит,
А это грустный и зловещий признак —
Великий должен быть равно велик
В попойке и в любви, а наш приятель
Не очень-то велик ни в том, ни в этом:
Он пьет вино и тайно размышляет
О действии хмельного на желудок;
Он смотрит на блудницу, а в мечтах
Возводит свой проклятый особняк,

Расчетлив он, и мы над ним смеемся,
Но, может быть, расчетливость его —
Как божий дар — от дьявола спасает.
Господь — он знает, что кому дает.
Сегодня друг наш тучами окутан,
Но не настолько, чтобы с древа жизни
Он не натряс невиданных плодов
И наварил из них такого пива,
Что всех наполнит хмелем изумленья.
А поживи он дольше, и в лучах
Заката станет светлым он и тихим,
Как озеро, которое вчера
Являло черноту взбешенных вод.

Дай бог, чтобы он пожил, подарив нам
Свое неистовство, и хоть отчасти
С приличествующим полупоклоном
Признал свой долг векам и Гутенбергу,
Которым все же чем-нибудь обязан.
На это у него один ответ:
— Успеется. А что я буду делать,
Когда состарюсь? Кстати, мы бессмертны. —
Задумается. — Объясни мне, Бен,
Что значит быть бессмертным? Может, это

Немногим веселее, чем забвеньё
Распавшегося праха, что когда-то
В безумном мире, преданном мечтам,
Был движущимся атомом — как я? —
Ну чем ему помочь? Я смеха ради
Сказал ему, что он безумный шут.
Так он не рассмеялся, а заплакал.
И я готов был, стоя на коленях,
Съесть ящерицу, ибо я ужалил
Добрейшего из королей, который
Меня ужалить в мыслях не имел.
Я говорю и буду говорить,
Что я люблю его до обожанья.

Он говорит, успеется. Посмотрим.
До старости он может не дожить.
Хотя творения таких, как он,
Творятся сами, все же есть расплата
За слишком многие его терзанья,
За вихри под спокойной оболочкой,
За ярость напоенных кровью строк,
За откровения его бессонниц,
За раскаленный от раздумий мозг,
За сердце, утомленное от боли,

За все скопление и хитросплетенье
Угарных дел, которым нет конца.
Все это, в разумении моем,
Не продлевает жизни человека.
Нет, нет, не бойтесь! Мы еще увидим
Бог весть какие вспышки до того,
Как он уйдет. Лишь надо подождать
Годок-другой явленья Клеопатры,
Которая бальзам и утешенье.
Поверьте, я нисколько не шучу.
Избравший Аполлонову стезю
Имеет право, сколько хватит сил,
Без опасений ударять по струнам
Своей последней, самой дикой лиры
И, подражая воплям преисподней,
Своими чарами не породить
Безумия и мрака на погибель
Рассвета и великой тишины,
Царящей после бурь и катастроф.
Он Аристотеля повергнет в ужас,
Но катарсиса все-таки достигнет.

Нет, он побудет здесь. В нем слишком много
Неспетого. Когда ж он удалится,

Тогда — клянусь богатством королей —
Во всем огромном эфемерном мире,
Который он воспел и ниспроверг,
Найдутся для него лишь островки,
Которые имеют выраженье
В злосчастных шиллингах. При этом он
Все будет понимать. О небеса!
Ну где, скажите мне, когда по воле
Богов иль демонов ходил по свету
Такой безумный, благородный, гордый,
Расчетливый, заносчивый Шекспир!
Ну где? Когда? На Родосе, в Пергаме,
В Ниневии, в Афинах? Утверждаю:
Лишь в Англии! Теперь! Он это знает,
Но вряд ли что его всерьез волнует...
Пардон: его проклятый особняк!

ТАСКЕР НОРКРОСС

— Предоставляю вам судить, насколько
Похожи меж собою города
И горожане в них на этом свете,
Который мы шутя зовем своим.
У всех по две ноги — и не у всех.
Но хватит лишних слов. Где я родился,
Когда-то были люди трех пород:
Получше, так себе и Таскер Норкросс.
Теперь остались двух.

— Что, друг ваш умер? —

Спросил я робко.

Фергюсон, который
Своим брюзжаньем сжил себя со свету
И оттого давно умолк навеки,

Сказал бесстрастно: — Все мои друзья
Поумирали.

— Кроме одного, —
Воскликнул я. — Цените ж человека,
Который слушает и понимает! —
Но Фергюсон вздохнул и объявил:
— Вы прытки и не по годам речисты,
Но до сих пор не научились слушать;
А я немолод и неблагодарен,
И прежде, чем рассказывать, размыслию,
Что из рассказанного вы поймете
И что пойдет на ветер. Даже тот,
Кто наделен терпением внимать
Медлительной трагедии изгоя,
Не вдруг увидит ужас, если ужас
Перед камином или на прогулке...

— Жить не могу без ужасов, — сказал я. —
Кошмары так эффектны при полночных
Прогулках. —

Фергюсон нахмурил брови:
— Не тот из нас умнее, кто смеется
Над тем, чего покуда не узнал.
А большинство не знает ничего —

Иначе б смертный труд наш прекратился.
Да, большинство не знает ничего —
И это основанье верить в бога,
Раз нет у вас другого. Таскер Норкросс, —
Я заключаю по его неверью, —
Бог знает почему, знал много больше,
Чем следовало знать. Вообразите
Его усадьбу с призраками предков,
Которые старались как умели
И умерли в почете не по чину,
И каждый бы иначе был помянут,
Когда почет бы умирал, как друг.
Почет — как друг и сам рождает друга,
Хорошего, плохого ли — не важно,
Того, который есть. Ведь мы живем
Лишь тем, что есть, не то мы умираем.
Вы скажете про химию; но прежде
Устройте так, чтоб нужное число
Молекул ваших двигалось, как надо.
Без этого недолго протанцуешь.
Без друга, без таланта, без безумья,
Без большей, чем отчаяние, веры
Вы проживете дольше, чем хотели б.
Представьте, будто я знакомый призрак.

Вы помните меня. Так сколько раз
Я вам явлюсь на дню? Ответа нет.
Простите, если я не слишком точен.
Беря себя в пример, я лишь пытаюсь
Хоть как-то возбудить в вас интерес
К столь бедному событьями рассказу.

— Экклезиаст для каждого дня
Дает свое особенное время, —
Напомнил я. — Должно быть, есть и время
Не отвечать, когда не ждут ответа. —
Его глаза, как ледяные жала,
Впились в меня, но вскоре я увидел,
Как холод уступает место тленью
Двух угольков, которых, как я знал,
Не угасить ни ласкою, ни ложью.
Я должен был бы сделать все, что в силах,
Для Фергюсона; но, сказать по правде,
Когда бы приказал он долго жить,
При всем желании я не сумел бы
Оплакивать утрату; и, пожалуй,
Он сам как призрак вряд ли бы одобрил
Мое проблематичное уменье
Заставить его вновь бродить без цели

По пройденной дорожке — без безумья,
Таланта, веры, друга — без всего,
Что Норкросс полагал необходимым.

Изрядно помолчав, он продолжал:
— Да-да, наверно, даже хорошо,
Что не всегда мы это произносим.
Вы знаете, о чем я. Надо думать,
Вы отыскиали б нужное словечко.
Как вы сказали? Я неисправим?
Ну разве я неисправим? А впрочем,
Любое слово без употребленья
Зачахнет и умрет, как человек.
Что ж, слово ничего. Неисправим —
Насколько помнится, таким был Норкросс.
Вообразите старый белый дом —
Он называл свое жилище домом, —
Унылый дом, квадратный, как коробка,
И целый год холодный, как могила.
Вокруг него деревья — слишком много
Деревьев, если можно о деревьях
Сказать: их слишком много. Перед домом —
Дорога и железная дорога,
За ней река, холмы и вновь деревья.

Дом наблюдал за вами сквозь деревья,
Как сквозь решетку бледный арестант
С зеленой тенью на лице. Наверно,
Прохожие друг другу говорили:
«Он здесь живет, да только от него
Мы не видали ни добра, ни зла,
Ни хоть того, что можно бы запомнить».
И что-нибудь еще в таком же роде;
И вдруг, увидев кошку, вспоминали
Слова свои, поскольку даже кошка
Порой бывает личностью, — быть может,
Той самой личностью, которой не дал
Всевышний Норкроссу, из года в год
Глядевшему в окошко на закат.

Сознание этого однажды стало
Моим открытием — лишь моим, поскольку
Тьма расступалась только для меня.
Всегда и всюду рядом с вами люди,
Которые — ничто. Ничто, куда
Им время не нашло иной задачи,
Чем радовать собой гробовщиков.
И тем не менее в своих глазах
Они невыразимо что-то значат

И, стало быть, чего-нибудь да стоят.
Господь при сотвореньи пожалел их
И странно оградил их самомненьем
При помощи пожизненных иллюзий.
Вы шутите над ними, а они,
Должно быть, тоже безмятежно шутят
Над вами. Истинно блажен, кто видит
Себя таким, каким он средою не был,
И вовсе нечувствителен к намекам,
И ладит с зеркалом.

— Ну-ну, — сказал я. —

Пока что не горит, и мы не будем
Выкликивать несчастных поименно.
Сдерите с нас посредственность, как шкуру,
И не найдется места почесать.
Мы все кровоточим. Прикройте нас
Поделикатней. Ну, так что же Норкросс?

Отчаясь, Фергюсон закрыл глаза
И испустил почти предсмертный вздох.
Об интересе он теперь не думал
И полувслух пробормотал: — О боже!
Как будто я все время не твердил

О Норкроссе, о Норкроссе! Вы что,
Хотите, чтобы это имя стало
Игрушкой, составленной из букв?
Составьте лучше список всех знакомых,
Которых вы не любите. К нему
Вы можете прибавить и меня.
Но, впрочем, погодите. Если я
Присвоил слишком много привилегий,
То я за них расплачиваюсь сам;
И если я о Норкроссе усвоил
Сужденье слишком мрачное, то пусть
Моя несправедливость отягчит
Ту ношу, что нести отнюдь не вам.
Однажды посетив его, я встретил
Такое безразличие, как будто
Мы встретились случайно на прогулке.
Со мной он не был ни хорош, ни плох.
И вообще он был ни то, ни се...
Представьте запыленного червя,
Такого неприглядного, что птица
Головкой покачает и вспорхнет
Искать на завтрак что-нибудь получше.
— Но это просто счастье для червя! —
Воскликнул я. — Залог его спасенья

В его невзрачности. Ваш Норкросс, верно,
Во многих людях мог бы вызвать зависть.

— Спасенье? Счастье? Разве может червь
Об этом думать? Может... Ну, и бог с ним,
И бог со всеми, кроме одного, —
Вы представляете его себе?
Вы начинаете хоть как-то видеть
Очерченное ужасом Ничто?
Вы заполняете пустынный контур
Разнузданной игрой воображенья?
Вы ничего пока не угадали,
И лавры пожинать повремените.
Я говорю про ужас, ибо вряд ли
Огонь и вилы новой преисподней —
Коль старой недостаточно — могли бы
Вселить в его сознание новый ужас,
Изобретательней и изощренней,
Чем тот, который он познал при жизни.
Вы улыбаетесь? Что ж, улыбайтесь.
Войдите вслед за мною в этот дом,
И вы увидите четыре вещи —
Везде — четыре голые стены,
Упершиеся в потолок. Хозяин

За жизнь их досконально изучил.
Вцепитесь в них когтями интеллекта
И наблюдайте человека в доме,
Как крысу в клетке, и не забывайте,
Что он прекрасно понимает все.
Запомните получше, что источник
Трагедий наших — в нашем пониманье.
Будь Норкросс неразумней, он бы стал
Достоин зависти и славословья.
Когда б, как все, он замечал изъяны
В других, а не в себе, его кончину
Почтило бы немало экипажей.
Там было золото. Вполне понятно:
Он на себя не тратил ничего,
Благотворил же, как и жил, безлико.
Он все бы отдал, ежели взамен
Однажды, бреясь, в зеркале увидел
Лицо повыразительней. Вы, верно,
Заявите, что это от природы
И не на что поэтому роптать.

Ну, ладно, вы ведь мысленно пришли
Со мною в этот дом — взгляните сами
И расскажите мне, что увидали.

К примеру, отыщите в доме книгу,
Которую бы стоило держать
Не вверх ногами. Обойдите дом,
И если вам покажется картина,
Которая не вызовет досады
И после рассмотренья, то считайте
Ее своей и поместите в темном
Углу воспоминаний, чтобы Норкросс
Не увидел. Но он и не увидит.
Как может увидеть лишенный зренья?
А что до музыки — он изумленно
Страдал, когда не часто и невольно
Присутствовал при непонятных звуках.
Поэтому, стараясь избегать
Ненужных жертв, он не смотрел на
лица
Внимающих тому, что он не слышит.
В музеях его мучил самый вид
Чужих людей, которые забыли
Свои невзгоды и самих себя
Перед набором мраморных обломков,
Свезенных с Парфенона, — самый вид
Взирающих на то, что он не видит.
Старинный мрамор жил, а он был мертв.

И тут была загадка посерьезней,
Чем при звучанье скрипок и валторн.
Он знал себя, он знал свою безликость,
И в этом знании скрывалась смерть.
Он знал, что рядом существует область
Вне делового беспорядка будней,
Но вовсе не враждебная их бурям,
И в ней ему служили бы поэты,
И славили его бы, и спасали,
Когда бы отыскиали, что спасти.
Спасать же было нечего. Весь мир
Ему казался маленькой пустыней.
Но песнопевцы не царят в пустынях.
А храмы звуков и соцветья чувств
Явились бы напрасной благодатью
Тому, кто не способен отличить их
От скал и скудных трав своей души.
Он это знал. Лишь это, но не больше.
Плененный свет, который для других
Был песней, заключенной в изваянье,
Его глазам, лишенным вдохновенья,
Казался лишь бессмертной чепухой
На той земле, где все должно быть смертно.
«Искусство — это же не ж и з н ь , — твердил о н , —

А стало быть, искусство — это ложь». При помощи подобных построений Он отвергал благодеянья греков. Он понаслышке знал о них, — как знал И о своей трепещущей душе, — Но это все его не занимало. Он утверждал — вернее, он бы мог По размышлении сказать, что Вера И Философия живут в загоне И просят милостыню, как сироты. Он видел звезды ясной, тихой ночью, Но заглянуть за звезды не умел. Он слышал речь людскую, но не мог В уединенье слушать тишину. Он, различавший вкус любой еды, Понятья не имел о Хлебе Жизни, Который, как он полагал, в веках Прославило отчаянье людей, Уставших грезить о насущном хлебе. Ну хоть теперь вы видите его?

Я отвечал, что начинаю видеть,
И был готов при этом рассмеяться
От столь проникновенного злословья,

Но спохватился, что до сей поры
Мы не смеемся на похоронах.
Он предо мной поныне, как живой,
И благо для меня и для него,
Что я тогда сдержался, ибо время
Уже на нем остановило взгляд
И трогало копьём неоднократно
И до того, как он мне рассказал
О Норкроссе. Когда же весть о том,
Что сам он окрестил бы избавленьем,
Составила полдюйма новостей,
Нигде не сообщалось о слезах.
И все немногочисленные дамы,
Пришедшие на похороны, были
Не милы ни ему, ни вообще.
И ни одна из них не выделялась
И не попала в бедную легенду,
Которую я много лет спустя
Услышал, оказавшись в тех краях,
Где он родился. Я пошел бродить,
И вскорости услужливый прохожий
Провел меня к усадьбе Фергюсона,
И я немедленно ее узнал:
Унылый дом, квадратный, как коробка,

И, видимо, холодный, как могила,
Средь множества деревьев, а внизу
Дорога и железная дорога.
— Когда он умер, был аукцион, —
Сказал мой спутник. — Я его купил,
И вот живу и не могу согреться.
Вы тоже знали Фергюсона? Вот как!
Я знал его лет двадцать, только знал
Скорей как дерево, чем как соседа.
Он малость заносился, но теперь-то...
Я помню Фергюсона. Как же, как же... —
Другие тоже помнили его,
Но Таскер Норкросс был им неизвестен.

АЙЗЕК И АРЧИБАЛЬД

Я знал их, Айзека ж Арчибальда,
И, кажется, пошучивал над ними,
А в общем-то любил и уважал
За старость и внимание ко мне.

Когда теперь мне что-нибудь напомним
Об этих стариках, я непременно
Увижу день, когда я увязался
За Айзеком, желавшим убедиться,
Что Арчибальд уже скошил овес.
— Давно пора б ы , — пояснил мне А й з е к , —
Да Арчибальд... Я как-то не спокоен
За Арчибальда. — Говоря короче,
Добрейший Айзек пригласил меня —

Вернее же, с липучестью мальчишки
К премудрой старости, я так пристал,
Что он не смог не взять меня с собой.
Меня, конечно, мало волновали
Хоть чьи-нибудь овсы и их покос;
Другое дело Арчибальд. И Айзек
Опять другое дело. И вокруг
Такая ширь, такой покой и счастье.
Мы зашагали по Речной дороге,
Поблескивавшей листьями деревьев,
Среди тепла и всех земных чудес,
И Айзек произнес: — Прекрасный день. —
Но, не пройдя еще и первой мили,
Я начал задыхаться и гадать,
Когда же старый Айзек сбавит шаг,
Который не под силу даже мне.
Я исходил почти кровавым потом,
У Айзека же ленточка на шляпе
Ничуть не увлажнилась. И тогда
С учтивостью отчаянья сказал я,
Что, дескать, нынче в августе жара,
А мы ее порой не замечаем.
— Не день, а сказка, — возразил мне Айзек, —
И солнышко тебе, и ветерок. —

Я согласился с тем, что ветерок,
И тут же попытался намекнуть
На близость притененного местечка.
Я даже чуть не ляпнул старику,
Что он старик, но вовремя сдержался:
Не чуткость, а, пожалуй, здравый смысл
Мне указал на тщетность ухищрений.
Да, Айзек стар, но не настолько стар.

И, удержавшись от обиняков,
Я предложил передохнуть в тенечке.
Он был не против. Разговор у нас
Пошел об Арчибальде, и внезапно
Я ощутил ту смутную тревогу,
Которая бывает только в детстве.
Уставясь на меня, старик спросил,
Не замечал ли я чего-нибудь.
Но ни о чем таком я и не думал,
И по мелькнувшей на лице досаде
Я понял, что обидел старика.
— Мой юный друг, — сказала он, — ты откуда
Не чувствуешь того, что вижу я.
Ты научился видеть лишь глазами,
Но есть другое, внутреннее зреньё,

Которое не может обмануть.
Оно приходит с опытом, давая
То сумеречное предупреждение,
То чувство одиночества навек,
Которых у тебя и быть не может.
А я — семь долгих лет я наблюдаю,
Как Арчибальд меняется. И дело
Не в том, что он выходит из игры, —
Его я знаю слишком хорошо
И видел доброту его, которой,
Не замечая, пользовались люди,
И я прошел с ним сквозь огонь и воду,
И я зашел настолько далеко,
Что сердце заболело тою болью,
До знания о которой ты не дожил.
Но и тебе с твоею детской верой,
Самонадеянностью и свободой
Придет пора понять, что значит жить,
Когда твое уходит от тебя,
Когда ты им все более покинут.
Тогда ты проклянешь свое бывшее
Неведенье — господь тебя храни
От преждевременного знания жизни, —
И детство вдруг покажется тебе

Картинками забытой детской книжки.
Когда же самый лучший друг уходит,
Когда ты подмечаешь в нем небрежность,
Предшествующую концу, небрежность
В обычном слове, что в других устах
Вниманья твоего не привлекло бы,
В каком-нибудь привычном мелком деле,
Что сделано привычно и как надо,
Но чуть не так — и это чуть не так
Тебя куснет, как беличий зубок, —
Тогда ты очень многое поймешь.
Но чаще все бывает по-иному;
Нет никакой небрежности, но видно,
Что он меняется, что он уходит, —
Как нынче видно мне, что Арчибальд
Уходит первым, я же остаюсь.
Так посмотри же на меня, мой мальчик,
Чтобы, когда настанет твой черед
Заметить, что я тоже уйду,
Ты мог меня сегодняшнего вспомнить,
Увидеть эту тень, где мы сидим,
Подумать обо мне, каким я был,
Когда однажды августовским днем
Мы вместе навещали Арчибальда. —

Так говорил он, и его сужденья
Ко мне приходят вновь почти дословно,
И с ними — четкое воспоминанье
О том, как что-то комом встало в горле.

Спроси меня, мальчишку, отчего
Я потрясен словами старика, —
И я бы затруднился, что ответить.
Я вовсе не испытывал печали,
Как ни старался убедить себя,
Что опечален. Рот мой распирало
От слов, и я в свои двенадцать лет,
Наверно, мог бы Айзека утешить,
Но выговорить этих слов не мог.
И я, уставясь в землю, стал гадать,
Зачем всевышний сотворил такую
Хлопочущую тварь, как муравей.
Но Айзек с дальновидным беспокойством
Распорядился вновь пуститься в путь:
До Арчибальда было мили три,
А до колодца миля. Эти мысли
Усвоил я со вздохом облегченья;
Улегся страх, что спутник мой, прошедший
Со старым другом сквозь огонь и воду,

Стал вовсе нечувствителен к жаре.
Но все же Айзек жаждал, как пустыня,
И у колодца он вознес хвалу
За все, что существует для питья,
И славно так и весело напился,
Что мне не трудно стало попросить,
Чтоб он шагал помедленней — не то
Я до поры увижу, как мой друг
Уходит от меня и все такое.
Я пошутил, и Айзек рассмеялся,
И я с ним — мне же было лишь двенадцать.

Потом мы шли еще не меньше часа,
И вот на круглой маковке холма
Средь лиственниц и яблонь показался
Высокий белый домик Арчибальда
И сзади — крыша длинного амбара.
И над усадьбой, рощей и полями,
Над их старинной тихой простотой
Витал тот дух прозрачной старины
Который к жизни вызван умираьем.
Я это все отчасти ощутил,
Когда мой спутник вдруг остановился
И, позабыв меня, и ветерки,

И зной, недоуменно и пристрастно
Не меньше долгой четверти минуты
Приглядывался к скошенному полю,
Желтевшему вдали. Я был мальчишкой,
Но кое-что неплохо подмечал
И понимал. — Вот это да! — сказал он.
— Вот Арчибальд, наверно, удивится, —
Сказал я, — и напрасно, ибо Айзек
Уже шагал по выжженной дороге,
Огромный и неукротимый, словно
Какой-нибудь гомеровский герой.
И я подумал, что пора оставить
Мои коротконогие попытки
Весь путь не отставать от старика.

Мы повернули в гору по тропинке
И тотчас увидели Арчибальда —
Он вышел нам навстречу, опираясь
На суковатую свою клюку.
— Вот это да! — сказал он и, увидев
Разводы грязи на моем лице,
Пожал мне руку и предположил,
Что нынче было здорово пройтись
От Тильбюри к нему. — Великолепно! —

Воскликнул Айзек. — Ветерок сегодня
Чудесно освежает атмосферу.
— Ты поднял ветер, топя по пыли, —
Немедля догадался Арчибальд,
И Айзек наградил его улыбкой,
Одной из редких, радостных улыбок,
Что доставались только Арчибальду.
— В такой денек понятно, для чего
Нам провиденье посылает сидр, —
Заметил Айзек. Арчибальд, кивнув,
Сказал, что ежели сойти в подвал,
То там найдутся целых восемь бочек —
Одна едва почата и на вкус
Достойна всяческого одобренья.
Восторженно услышав эту весть,
Достопочтенный Айзек нас повел,
Ступая, как по собственной усадьбе,
К дверям амбара. Мы втроем спустились
Из яростного света в тихий сумрак,
Почти могильный, где и увидали
Шеренгу из восьми могучих бочек,
Стоявших вдоль по стенке. Из одной
Торчала соблазнительная втулка.
Под ней на плоском черном камне влага

Свидетельствовала, что Арчибальд
По опыту судил о свойствах сидра.
Не то на отдыхе, не то в плену
На самом дне граненого стакана
Сидел сверчок, жевавший темноту.
Добрейший Айзек вытряхнул его
И тронул пальцем, чтобы отогнать,
И опытной спокойною рукою
Затычку вытянул, не проронив
Ни капли мимо, и неторопливо
И снисходительно отведал сидра,
И с гордостью владельца оглядел
Шеренгу бочек, словно позабыв,
Что это все — хозяйство Арчибальда.
— Давно, давно я не касался втулки, —
Промолвил он, подняв стакан на свет, —
Да, слава богу, есть еще сады... —
Он наполнял стакан свой много раз,
И я успел подумать, что, пожалуй,
У старости, помимо всяких бед,
Найдется и немало преимуществ.

Когда мы вышли из подвала, Айзек
Вдруг объявил, что хочет прогуляться:

— Ты знаешь, ноги что-то затекают,
К тому же гляну на твои труды.
А ты пока прилег бы, распрямился,
Да рассказал парнишке, как однажды —
Тому лет сорок — в стаффордской лачуге
Нас четверых с одной сушеной пикшей
Двенадцать суток продержал буран.
Ты побеседуй с ним и отдохни,
А я пошел. — Взглянув на Арчибальда,
Я увидел, как ноздри его дважды
Расширились и сузились. Поныне
Я слышу, как он хмыкнул про себя —
Совсем не благодушно, не затем
Чтоб этим выказать свою веселость, —
За хмыканьем последовал глубокий
Тоскливый вздох. Но тут же он сдержался:
— А не пойти ли нам с тобою в сад?
Там, может, яблочки для нас найдутся,
И уж наверняка там будет тень. —
Мы растянулись в холодке на травке,
И я сжевал не менее десятка
Червивых паданцев, а Арчибальд
Поведал мне о стаффордском заносе —
Рассказ хороший, только «сверххолодный»

И при такой жарнице, как сегодня, —
Он сам сказал так. Но другие мысли
Тревожили его и заставляли
Высказывать их вслух. Я уловил
Их отблеск в нескольких невольных взглядах,
Украдкой брошенных через плечо...
— Весь этот Стаффорд — старая волынка,
А мы с ним нынче сами старики.
И чем бы нас ни награждала жизнь
И что б она у нас ни отнимала,
Чего бы в ней мы ни теряли сами —
Мы старики. Запомни это, мальчик.
Ты смотришь вдаль, а мы живем с оглядкой.
Мы с ним доигрываем жизнь в тени.
Хотя, как прежде, солнце освещает
Дорогу перед нами, и невольно
Мы смотрим на нее — мы дети солнца,
Как ты и как травинка под ногами.
А тень зовет, и это нас страшит —
Но мы, осмелившиеся прожить
Такую жизнь, мы научились видеть
Зазвездный свет и многое другое,
Другое... Восемь или десять лет
Я вижу, как оно к нему приходит,

И знаю, что не слишком долго Айзек
Пребудет Айзеком. Ты очень юн,
Но, может, тоже примечал за ним
Мучительскую новую манеру
Вытягивать все жилы. Я терплю
И вижу, он, увы, не прежний Айзек.
Я знаю, знаю, что это такое:
Оно засело у меня в коленках,
А у него вот т у т, — он сокрушенно
Костяшки пальцев приложил ко л б у . —
Наш старый Айзек не совсем в порядке.
Ты видишь это, но не понимаешь —
Тут миллион мельчайших отклонений,
Ты их не замечаешь — и прекрасно.
Придет п о р а , — храни тебя господь, —
Ты их заметишь, но не все, не все.
Старайся хоть теперь о них не думать,
В них никакого прока для тебя
И для меня, но я уже в тени,
И думаю о них, хоть никогда
Не позабуду о зазвездном свете.
Запомни, мальчик, все мои слова,
Чтобы, когда придет твоя пора,
Ты сам об этом смог сказать спокойно,

Без замешательства, брюзжания, злобы
На недопрожитую жизнь, проклятий
Над жалкими осколками того,
Что сам разбил своим же небреженьем.
Живи и знай, что свет к тебе сойдет,
Когда понадобится. Но довольно —
Я повторяюсь, как сказал бы Айзек,
Остановлюсь, пока ты не заснул.
Ворчи на жизнь, но только осторожно
И лишь тогда, когда ты не в тени.

Мне, правда, никогда не позабыть
Оставленность во взгляде Арчибальда,
Его надтреснутый дрожащий голос,
И каково мне было это слушать.
Я, помнится, лежал и неотрывно
Глядел за кромку сада, за дорогу,
За речку, за далекие холмы —
Они кончались лесом, за которым
Кончался мир. Порой в мечтах мелькали
Картины золотой нездешней жизни:
Моря и корабли, дворцы и песни,
Паденье Трои, давние века,

Века поближе, Айзек с Арчибальдом —
Веселые мужи в античных тогах,
И старый мой приятель Агамемнон,
И друг Улисс, который возвратился
Домой и тут же стал стрелять из лука, —
И, в общем, все как надо. Я был юн.

Так я лежал, порхая по столетьям,
Спокойный и непоправимо сытый
Мечтами, яблоками и незнаньем
И тонким дымом трубки Арчибальда.
Кругом была такая тишина,
Как будто дух жары своей ладонью
Накрыл все голоса. И в белом свете
Расплавленного солнца, что сжигало
Окрестные поля и выжимало
Из листьев запах листьев, я предвидел
Всю полноту моих грядущих дней
И прелесть мира, ждущего за лесом;
Былое с настоящим и грядущим,
Гомер с неопалимой купиной,
Айзек и Арчибальд с Иерихоном
Сплелись во мне, но Арчибальд внезапно

Встревожился за Айзека: мол, нынче
Такой «сверхдень» для солнечных ударов.
«И мумия на это б рассмеялась», —
Подумал я, припомнив, как по солнцу
Мы топали сюда, и стал резвиться.
А незаметно подошедший Айзек
Изрек, что искурил весь свой табак,
И, странно глянув на меня, спросил,
С чего это я вдруг расщебетался.
— Чудесный мир нам даровал господь, —
Отметил он и с грубоватой нежностью,
Присущей персиковой кожуре
Или гусиной коже, проворчал: —
А не скосил ли ты свои овсы
За день-другой до полного налива?
— Не беспокойся, — буркнул Арчибальд,
И ноздри его дрогнули и снова
Расширились и сузились. — К чему
Заглядывать в соседские овсы?
Ты лучше вот передохни в теньке,
А я пойду и поищу картишки.
По-моему, пора сыграть в семерку.
— Само собой, — ответил Айзек, — только
Сперва я выпил бы еще стаканчик. —

Они ушли по направленью к дому,
А я остался с детским изумленьем
Касательно чудных привычек взрослых.
Я мысленно последовал за ними,
Но вскоре упустил их, ибо мне
Предстало сразу все, что есть на свете.
Но дивное видение прогнали
Тяжелые шаги и голоса —
Я помню их, хоть столько звуков жизни
Доносится ко мне как бы с Синая.

Я и сегодня помню, как они
Беседовали, как они уселись,
Как шла игра, как я считал очки
И вместе с тем считал себя троянцем,
А в Айзеке воображал Улисса;
Но Арчибальда не сумел сравнить
Ни с кем и даже, кажется, обидел,
Когда сказал, что он никем не будет:
С такой прямой и длинной бородой
Гомеровских героев не бывает.
— Ты п р а в , — поддакнул Айзек. Арчибальд
С лукавой желтозубою ухмылкой,
Назначив козыря, подкинул двойку,

И я был счастлив за него. Но тут
Раздался колокольчик. — Это уж и н, —
Промолвил Арчибальд... Потом они
Курили трубки, я же размышлял
О том покое, что придет с годами,
Но может никогда и не прийти.
Сгущались сумерки, настало время
Отправиться домой, и по дороге
Я видел блики света на закате,
И темный лес, и дальний горизонт —
За ним пылало солнце, пели волны,
Звенели песни, плыли корабли,
И старые два друга были вечно
Со мною... Той же ночью я увидел
Во сне двух старых ангелов, сидевших
Лицом к лицу под серебристым небом,
И я к ним незаметно подошел,
И крылья одного затрепетали,
И он вскричал в бесхитроном восторге:
— Сдавайся, Айзек: козырь, козырь, туз!

Айзек и Арчибальд давно ушли
В безмолвие любимых и забытых.
Я знал их и подшучивал над ними,

Но смех бывает не лишен почтения,
И я за эти шутки не краснею.
Скорей, я думаю, что и они
Подтрунивали надо мной, —но вряд ли:
Им было слишком много лет, а я
Шутил над ними, ибо их любил.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>А. Сергеев.</i> Предисловие	3
--	---

Стихотворения

Фламмонд	21
Минивер Чиви	26
Джон Эврелдаун	28
Джон Горэм	30
Люк Хэвергол	34
Рюбен Брайт	36
Вечеринка мистера Флада	37
Клифф Клингенхаген	40
Ричард Кори	41
Бьюик Финзер	43
Эрон Старк	45
Божий дар	46
Гора Виккери	49

Клерки	53
Блудный сын	54
Джордж Крэбб	56
Уолт Уитмен	57
Властелин	59

П о э м ы

Джон Браун	65
Рембрандт — Рембрандту	74
Бен Джонсон занимает гостя из Стрэтфорда	90
Таскер Норкросс	108
Айзек и Арчибальд	123

Эдвин Арлингтон
РОБИНСОН

*Стихотворения
и поэмы*

Редактор *Н. Будавей*
Художественный редактор *Л. Калитовская*
Технический редактор *Л. Пичугина*
Корректоры *Н. Шкарбанова* и *Д. Эткина*

Сдано в набор 3/ХІІ-70 г.
Подписано к печати 6.IV-71 г.
Бумага типограф. № 1, 84X108^{1/64}
2,25 печ. л. 3,78 усл. печ. л. 9,9¹²+1 вкл.=
=3,955 уч.-изд. л.
Тираж 10.000 экз.
Заказ 8458. Цена 44 коп.

Издательство «Художественная
литература», Москва, Б-66
Ново-Басманная, 19

Московская типография № 5
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, Мало-Московская, 21.